



АНАТОЛИЙ
ВИНОГРАДОВ
ЧЕРНЫЙ
КОНСУЛ

Анатолий Виноградов

Черный консул

«СОЮЗ»

2023

Виноградов А. К.

Черный консул / А. К. Виноградов — «СОЮЗ», 2023

ISBN 978-5-60-501264-1

Историческая повесть Анатолия Виноградова «Черный консул» посвящена единственному в истории успешному восстанию рабов, произошедшему во французской колонии Сан-Доминго, в 1791–1803 годах, в результате которого колония (сменившая название на Гаити) получила независимость. Кроме этого читателей ждет рассказ о великих событиях и выдающихся исторических деятелях описываемой эпохи.

ISBN 978-5-60-501264-1

© Виноградов А. К., 2023

© СОЮЗ, 2023

Содержание

Часть первая. Белая Франция	6
1. Тени парижской ночи	6
2. Черные и белые	23
3. Дневные видения	37
4. Клуб Массиака	42
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Анатолий Виноградов

Черный консул

© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

Часть первая. Белая Франция

1. Тени парижской ночи

*Да, впрочем, можно ли в том сделать ей упрек,
Что меж приезжих Адонисов,
К несчастью, такой нашелся человек,
Что в сумерки гулять под тенью кипарисов
Они уводят дам, что с ними за стеной
Уж восемь дней живут под кровлею одной.*

Виланд, «Вастола». Изд. Александра Пушкина, СПб., 1836

В отличие от зимы 1788 года революционный декабрь Парижа сопровождался большим снегопадом. Снег начался с внезапного налета бури; облака закрыли солнце, яркое небо потускнело, и наступили серые сумерки. Монах из конгрегации святого Мавра записывал в «Анналах страшных событий», что снег падал, не останавливаясь ни минуты, пятьдесят два часа, то есть всю мессу, повечерие, литанию, полуношницу, отпевание маркиза д'Абевиля и часы Блаженной Девы Марии *дважды*. А парижские ремесленники отметили в своей памяти, что в этот день прекратилась доставка муки в город и обыкновенный ливр грязного хлеба обошелся им в булочной в семь с половиной су.

Снегопад кончился в полнолуние. Париж почти опустел. На глубоком нетающем снегу копыта верховых лошадей ступали без стука, а кареты почти бесшумно оставляли длинный след. Кучера не кричали «гарр», пешеходов почти не было.

В поздний час по улице Генего пробирался с фонарем человек в треуголке, в черной маске, усталый, судя по тому, как он опирался на высокую трость, а впереди, освещая и без того светлую дорогу, кидая по белому снегу двойную тень – синюю от луны и коричневую от восьмигранного дымящего и мигающего фонаря, – шел не то слуга, не то провожатый. Он шел, покачивая маленькой островерхой шапкой, злой и ворчащий, как зверь, а его «господин» следовал молча, погруженный в свои мысли.

Слуга обернулся на перекрестке и спросил:

– Ну, куда же теперь? Ведь уже скоро рассвет, а вы еще не надумали, где будете ночевать. Я вам говорю, вернемся в восемнадцатый номер на улице Кордельеров, я вас уложу под лестницей и положу вам под голову вот этот тюк, а сам, как собака, буду спать у двери. Я не могу больше идти... Мне надоело рисковать собою из-за каких-то корректур.

Человек в маске закашлял, потом махнул рукою, хотел что-то сказать, но в это время из переулка, задыхаясь, вышли двое, и женщина, закутанная с головой, дрожа от стужи, бросилась к человеку в маске, ведя с собою не менее закутанного спутника, ставшего в тень углового дома.

– Гражданин! – крикнула она. Потом вдруг остановилась, увидев маску. – Сударь! Милостивый государь! Маркиз, быть может! – все больше и больше волнуясь, умоляюще произнесла она. – Скажите, где живет знаменитый доктор Кабанис? Человек умирает, его надо спасти...

– Парижская ночь полна тенями, – ответил человек в черной маске, – гражданка, я не маркиз, а такой же гражданин, как вы... Если, впрочем, ты не аристократка! Тебе известно, что доктор Кабанис нынешней осенью не возвращался из Версаля и что немало других докторов в Париже...

– Но где же они все, гражданин, где все они?.. Я с вечера на ногах, и вот приезжий родственник больного... мы не можем найти ни одного врача... Доктор Кабанис... Разве мы можем рассчитывать на его внимание? Но его имя у всех на устах, мы пошли к нему... Мы ищем в четвертом квартале, и везде говорят, что он уже уехал на другую квартиру.

– Уже уехал, – повторил человек в маске, покачивая головой, – уже уехал, когда-то про меня это скажут?

– Боже, какое счастье! Неужели вы врач? – воскликнула женщина.

– Да, я врач, но не уверен, что это счастье. Кто ваш больной и почему говорит женщина, когда мужчина молчит и прячется в тени? Может быть, этот стройный господин – агент муниципалитета и хочет сделать мне неприятное?

– О нет, господин, я совсем не агент, – внезапно заговорил закутанный человек. – Я даже не парижанин. Я не меньше, чем вы, страдаю от парижской зимы, а мой бедный родственник, вероятно, от нее умрет.

– Поговору вы – испанец, – сказал врач. – Мне все равно... Лишь бы не аристократ.

– О нет, во всяком случае нет, – горячо заговорил закутанный иностранец.

– Вот что, дорогой Лоран Басе, – обратился доктор к человеку с фонарем, – ты прав, иди сам туда, куда ты меня звал, и отнеси этот тюк с лекарствами, который ты таскаешь на себе. Завтра я буду сам лечить этими лекарствами весь Париж, а сегодня буду лечить заболевшего иностранца.

– Оставьте себе хоть фонарь, – произнес провожатый.

– Зачем мне будет нужен утром фонарь, когда над Парижем взойдет солнце? Иди себе, старый черт, с твоим фонарем и тащи медикаменты, которыми будет со временем вылечен наш больной Париж... Прощай, дружище Лоран... Не проедайся... Ну, не трать дорогого времени, мы должны заставить молодых девушек и ремесленников предместья плясать на земле, а богатей и аристократов плясать между небом и землей.

Женщина и ее спутник переглянулись быстро. Закутанный человек сказал:

– Вы, конечно, переночуете у нас, доктор, а потом экипаж доставит вас под утро всюду, куда вы пожелаете.

Тот, кто был назван именем Лорана Басса, повернул назад и, мерно покачивая фонарем, пошел по снегу, а доктор, продолжая разговор, двинулся туда, где ждали его помощи.

Шли долго... И как-то странно все замолчали... Доктор, внезапно повернувшись, хотел что-то сказать, но гулкие выстрелы из мушкетенов на другом берегу Сены изменили его намерения. Прошло еще несколько минут беззвучных шагов по снегу, безмолвных мыслей и молчаливых догадок.

– Тридцать девять выстрелов с промежутками, – сказал доктор. – Как далеко нам идти?

Закутанный человек пожал плечами. Женщина быстро выступила вместо него:

– Мы пройдем Новый мост и Самаритэну, потом около моста Ошанж свернем направо... Вот и все.

– Хорошо, – сказал доктор и вдруг, быстро вбежав на ступеньки ближайшего здания, спрятался за колонной.

Спутники, слегка замедляя шаг, продвинулись вперед. Роскошная, ярко освещенная карета, запряженная четверкой, двое слуг и фореитор. Человек, откинувшийся на атласных подушках, без парика, обмахивающийся шляпой с плюмажем, – все это быстро промелькнуло перед ними.

– Вот он, – задыхаясь, говорил доктор после проезда экипажа. – Вот он, господин Мирабо, проматывающий королевские взятки, спасающий шкуру Капетингов, этих кровососов Франции... недавно сидевший за долги, а теперь катающийся на пуховых подушках в золоченой карете. Этот болтливый вор и негодяй с продажной душонкой, не стоящий плевка проститутки Пале-Рояля или даже пьяной либертинки, стонущей под матросом в трактире Гавра.

Кулаки доктора сжимались. Маска соскочила, треуголка сбилась. Легкий тюрбан из голубого шелка повязывал голову хрипящего в негодовании человека. Он стоял на лестнице, освещенный полной луной, протягивая вперед прекрасную, словно выточенную, руку, а лицо с треугольным подбородком, маленьким носом, складками горечи около губ морщилось безумным гневом, хотя глаза сохраняли звездный блеск. Они были огромны, печальны и в то же время необычайно жизненны. Он смотрел на своих незнакомых спутников, но, казалось, их не видел. В нем было и бешенство и детская беспомощность, как у человека, давно потерявшего представление о личной жизни. Мгновение спустя он успокоился. Он поднял маску и, вплотную подойдя к своему спутнику, вскинул на него строгие и проницательные глаза.

– Я не спросил вашего имени, кто вы такой, – почти сердито обратился он к мужчине.

– Не все ли вам равно? – ответил тот. – Если вы врач, не все ли вам равно.

– Дорогой друг, – сказал доктор, – есть парижане, которым я могу оказать только одну хирургическую помощь – перерезать им горло.

– Тот, для кого мы просим вашей помощи, не парижанин и даже не француз. Что касается меня, то извольте, сударь, я назову себя. Мое имя Адонис Бреда.

– Это очень жаль, это очень жаль, – зашипел доктор. – Бреда, это тот самый, который укрыл заговорщика графа де Майльбуа, покушавшегося на свободу французского народа?..

Тот, кто назвал себя Адонисом, с горечью коснулся ладонью лба и сказал:

– Вы ошибаетесь, доктор, вы ошибаетесь. Владения Бреда, которому, увы, я должен в этом признаться, мой покойный дед принадлежал как раб, находятся не в Париже, не во Франции. Они за океаном, как вы сейчас все узнаете. Пойдемте поскорее.

– Хорошо, – сказал доктор, – я верю. Я все проверю. Вы вспомните каждое ваше слово.

– И вы тоже, доктор.

– Вы мне угрожаете?

– Нет, я далек от угрозы, но я боюсь за участь человека, который нам всем бесконечно дорог, хотя он и называется нашим общим слугою.

– Не останавливайтесь, доктор, пойдемте. Дорога каждая минута, умоляю вас, – простонала женщина.

– Бреда... Бреда... Вы хотите заманить меня в ловушку, гражданин, но я вооружен, я буду защищаться.

И доктор вдруг отступил, откинув тяжелый плащ. На белом атласном жилете, почти достигая выреза кружевного жабо, лежал широкий темно-красный пояс, из-под которого виднелись рукоятка большого кинжала и два корабельных пистолета.

– Я безоружен, – тихим голосом ответил мужчина.

Этот волнующий тремолированный голос успокоил доктора. Женщина схватила его за руку. Мир казался восстановленным. Но внезапно патруль Фландрского полка, звеня шпорами, вышел из переулка. А в отдалении улицы показались огни кареты.

Доктор и женщина быстро вбежали по ступенькам и спрятались в тень.

Караульный разводящий издал крикнул: «Стой!» Адонис перешел улицу и быстро пошел вперед навстречу патрулю.

Когда офицер просматривал синюю «гражданскую» карточку Адониса, сворачивая с ним вместе в переулок, встречающая карета, зацепив за выступ дома, уронила правые колеса и грохнулась на оснеженную улицу.

Женщина, схватив доктора под руку, быстро побежала с ним в противоположную сторону и, почти катясь по выступам каменной набережной, еле переводя дух, остановилась вместе с доктором в кустарниках, на песчаном берегу Сены, под Новым мостом и скрылась в черной тени огромной каменной арки. Вдали виднелась Самаритэна с крестами и выступами. В кустарнике храпел нищий, а его собака, видя сны, выла тихим воем, словно напевала какие-то старые собачьи песни. Вдалеке луна освещала огромные пролеты моста Ошанж и бросала

колоссальные тени трех его арок на поверхность черной, ночной, испещренной серебряными стрелами Сены.

– Гражданка, – сказал доктор, – я не хочу ночевать под мостом в декабрьскую стужу в кустарнике и собачьем помете. Господин Вольтер писал господину Руссо: «Никогда еще не тратили столько ума на попытку снова сделать нас скотами. Когда читаешь ваши книги, так и хочется пойти на четвереньках...» Так вот, гражданка, мне надоело не спать на постели, мне надоело превращаться в животное, мне вовсе не хочется ходить на четвереньках. Гражданка, твой спутник сказал, что у вас в доме заболел какой-то слуга, а мне надоело возиться с челядью, так как лакеи графа д'Артуа оказались порядочными сволочами, они все стоят за дворян, они все против революции, но они все доносчики и пакостники от имени Учредительного собрания...

– Подожди, дай мне кончить, – продолжал он, расхаживая под мостом и беспокойно теребя перламутровые пуговицы на грязном атласном жилете. – Что за беспокойная жизнь! Две недели подряд я ночевал в конюшнях Бонафуса. Проклятые голодные почтовые клячи заразили меня чесоткой! Что это за жизнь! Это какой-то ад, и все по доносу тех, кому через неделю палач перережет горло, кому народный гнев приготовил виселицу. Послушай, гражданка, вряд ли тебе есть охота выслушивать мою ругань. Но ведь если б я был способен ходить на задних лапках, я бы уже давно сидел во Французской академии вместе с первыми лизоблюдами Франции. Однако я не сделал этого. Я ответил отказом. Зато теперь я умею не только лечить болезни, я знаю состав света и звезд, я умею разложить и сложить солнечный луч, я знаю, как возникают в природе цвета и краски.

Женщина с ужасом смотрела на говорящего и думала, что доктор бредит. Но тот ходил большими шагами, вскидывая огромные сверкающие черные глаза навстречу потокам лунного света, струившимся сквозь большие хлопья медленно падающего снега. Потом, резко повернувшись, словно забыв о своей спутнице, доктор полез на набережную, цепляясь за кусты. Женщина последовала за ним.

Никто не мешал дальнейшему пути. Женщина шла вперед. Доктор следовал за ней почти машинально. В темном переулке, под фонарем, мигающим от ветра, огромный человек с дубиной сделал несколько шагов навстречу женщине.

– Послушай, Жоржетта, неужели ни одного врача в этом проклятом городе! Ведь он совсем умирает и кашляет кровью. Он бредит... Никто из тринадцати до сих пор не вернулся.

– Я привела врача, – сказала та, которую называли Жоржеттой.

Доктор, женщина и человек с дубиной вошли по скрипучим ступенькам в первый этаж.

Ночники, подвешенные на стене в виде кенкетов, тростниковые циновки на полу, легкий, едва слышный запах горьковатого гвоздичного масла и мускуса встретили вошедших.

Женщина скользнула в дверь, вернее – сквозь занавес из бамбуковых коленьев, зазвеневших, когда она их открывала.

– Присядьте, сударь, – сказал высокий человек, и тут вдруг впервые доктор увидел его лицо.

Перед ним был огромный негр с глазами на выкате и черными короткими, завитыми в крутые кольца волосами. Он не был похож на раба. Он посмотрел на доктора концентрированным, пронзительным взглядом и мгновенно погасил эту горячую пытливость взора. В следующие секунды доктор услышал, как двери пропели, закрываясь и открываясь перед ушедшим гигантом.

«Вот еще новое приключение», – подумал доктор. Но двери опять запели, и уже другой черный человек, почтительно ему поклонившись, повел его к больному.

На большой кровати под белым тонким матрасом с огромными стегаными оранжевыми цветами лежал, закинув руки на белую подушку, маленький, черный остролицый человек, и тонкая струйка крови окрашивала белую подушку, пачкая левую щеку больного. Доктор подо-

шел к нему и взял его за руку. Она была горяча. Больной сипло дышал и в ответ на прикосновение застывшей руки доктора открыл глаза. Поводя лихорадочными черными зрачками невидящих глаз, скорее зашипел, чем заговорил, слова:

Haec mera libertas! hoc nobis pillea donant.

An quisquam est alius liber, nisi ducere vitam, Cui licet, ut voluit? licet ut volo vivere: non sum Liberior Bruto? – Mendose colligis, inquit Stoicus hic aurem mordaci lotus aceto, Haec reliqua accipio licet illud et ut volo tolle.

Vindicta postquam – meus a praetore recessi Cur mihi non liceat, iussit quodcumque voluntas, Excepto si quid Masuri rubrica vetavit?

[Вот она, чистая свобода, вот что нам приносят в дар пилеи. Кто же свободен, как не тот, кому можно жить, как он хочет? Я могу жить, как хочу: разве я не свободнее Брута? «Твое заключение неверно, – говорит при этом стоик, у которого уши промыты едким уксусом, – отбрось это „все могут и как угодно“, остальное я принимаю. С тех пор как я, в силу обряда отпущения на свободу, возвратился от претора человеком свободным, отчего бы мне не позволить себе всего, что повелевает моя воля, за исключением лишь запрещенного в рубриках Мазурия?» – Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, прим. редактора]

Доктор выслушивал стук горячей крови в жилах разметавшегося больного негра, прислушивался к звукам странной латинской речи, силясь вспомнить, кому из латинских поэтов бронзового века принадлежат эти варварские строчки о свободе. Тем временем комната постепенно наполнялась людьми. Бесшумно входили разнообразные, низкорослые и высокие, курчавые и в седых париках, степенные, спокойные люди в цветных и черных, расшитых золотом камзолах, осанистые, тихие, озабоченные. Потом появился странно бледный высокий и курчавый человек с желтоватыми белками и, проведя рукой по белому парикау, сверкая перстнями на правой руке, обнаружил белые руки с синева-желтыми ногтями.

За стеной выла и стонала декабрьская выюга. Четыре занавешенных окна отделяли от нее. Две жаровни, стоявшие на полу, разливали тепло. Больной, роня подушку, вырвал руку из пальцев доктора. Доктор встал. Озираясь, он обратился к белому человеку с синими ногтями:

– И выговорите, что это ваш слуга, и выговорите, что это ваш раб! Этот человек, ночью в бреду читающий сатиры знаменитого Персия так, что ему позавидовал бы любой академик?! Что это за бред? Неужели я схожу с ума? Кто вы такие?

– Доктор, дорогой доктор, пусть снизойдет покой на ваше сердце, пусть в карманах вашего камзола находится золото, – об этом мы позаботимся, – но спасите нашего раба. Что же делать, маленький остров на далеком океане полон и не таких страшных тайн и чудес. Ваши вопросы заслуживают ответа на условиях полной взаимности. Ведь мы не спросили у вас, при входе диплома парижского университета на право врачевания. Мы доверились вам, хотя знали, что наши люди встретили вас случайно. Мы имели право спросить вас. Если вы не французский врач, то вы можете погубить нашего больного, если наш больной говорит по латыни, с вами ничего не случится.

– Ошибаетесь, гражданин! – закричал доктор, скидывая плащ и треуголку.

– За эти несчастные два месяца я затравлен, как мышь, попавшая в клетку с сотней кошек. Я перестал удивляться. Со мной может случиться все что угодно. Доверюсь вам: я доктор Марат, я Друг народа. Я – человек, затравленный и доведенный до безумия врагами народа.

Шепот пробежал по группе негров. Два-три человека с суровыми лицами и морщинами между бровями сняли шляпы. Сидевшие привстали.

Марат словно проверял впечатление. С головою, въехавшей в плечи, сгорбившись и нахохлившись, как больная птица, он ладонью шлепал по рукоятке корабельного пистолета и бешено обводил глазами черных людей, почтительно опутивших головы.

– Наше сердце у ног Друга народа. Перед вами Оже. Меня черные и цветные братья послали к вам, в Великую Конституанту, в поисках наших прав, – сказал человек с бледным

лицом и синими ногтями. – Судьба привела вас к нам. Вы будете лечить не только нашего господина, простуженного страшным парижским снегом, но всех нас, тоскующих по свободе и человеческим правам. Вы – Друг народа, вы друг всех, кого воззвала Декларация прав. Вы друг цветных племен, населяющих Гаити – Страну гор.

– Тише, тише, – сказал Марат, – не так громко! У него опять пошла кровь, – он указал на больного. И, словно позабыв об окружающих, сбросил зимнюю одежду, камзол, вынул пистолеты с кинжалом, распутал узел красного пояса, снял жилет и, оставшись в белой полуистлевшей рубашке и голубой повязке на усталой, со сматыми волосами голове, он наклонился над больным. Потом, пальцем подозвав Оже, немногосложными, короткими словами скомандовал принести таз холодной воды, простыню, номера «Национальной газеты» и, сделав огромный обложной компресс, закутал всю грудную клетку больного – стонущего и пускающего в ход кулаки негра. Тот кричал по латыни:

– Ступай, моя книжка, и от меня приветствуй милые места; конечно, коснулся бы я их ногою, насколько возможно. Если кто-нибудь там из народа, не забыв меня, спросит случайно, что я там делаю, – скажи, что живу, но на вопрос, благополучно ли, отвечай отрицательно!

– Что же, он изгнан, ваш Раб-Господин? Он читает Овидия. Его родной язык – язык изгнанников и римских врагов. Кто это? Говорите прямо. Уверю вас, он вне опасности. Мне опаснее ходить по улицам Парижа, чем ему лежать здесь в постели.

Негры сокрушенно закачали головами. Словно при виде чего-то недозволенного, они по порядку вставляли один за другим через какие-то строго размеренные промежутки времени и с видом смущенного достоинства выходили из комнаты один за другим. Марат, окунув кусок полотна в холодную воду, выжал материю и, осторожно расправив, сделал повязку на лбу больного, который, откинув голову за пределы подушки, дышал, как птица, жадно ловил воздух и метался. Огромная черная ладонь негра упала на голову Марата, сбила голубую повязку; волосы спустились на лицо доктора. Он встал, тихо отошел от постели, поправил свои волосы и стал готовиться к уходу. Когда он надевал плащ, больной вдруг вытянулся, губы его сомкнулись, и лицо, до того искаженное гримасой боли, вдруг стало спокойным, красивым и грустным. Марат протянул руку к пистолетам, засунул их за пояс, как вдруг раздались совершенно ясно через три двери идущие восклицания и стук булавою:

– Именем короля!

Марат повернулся на каблуках, потом заметался по комнате, но в эту минуту вошел Оже, спокойный и улыбающийся. В руках у него было блюдечко и белый кусок хлопчатой ваты. Осторожно подойдя к Марату, он сказал:

– Сядьте, доктор, они войдут еще не скоро.

Марат беспомощно опустился на плетеный стул. Оже окунул комок хлопка в блюдечко и, прежде чем успел опомниться Марат, выкрасил ему лицо и руки в коричневый цвет. Молодой негр, войдя в комнату, быстро раскинул по полу циновки и тростниковый подголовник вместо подушки. Оже быстро и решительно снимал, почти срывал с Марата его одежды, завязал плащ, быстро кинул узел на руки негра и знаком приказал Марату лечь.

– Не раскрывайте глаз, не раскрывайте глаз, – шепнул он ему. – Ваши глаза останавливают звезды и закрывают солнце.

Марат повиновался. Вдыхая запах погашенного кокосового ночника, он лег под тюфяк, пропахший гвоздичным маслом и ванилью. Марат слушал, как сонный, словно качание корабля на мертвой зыби, далекий голос. Кто-то ворчливо, медлительно и недовольно переспрашивал через дверь. Вошли, гремя прикладами, гвардейцы. Потом наступила тишина. В двери комиссар на всю комнату возгласил:

– Именем короля и по приказу господина начальника парижской Национальной гвардии маркиза де Лафайета.

– Тише, тише, здесь лежит больной, – сказал вошедший в другую дверь Оже. – Здесь только двое наших слуг. Осмотрите, гражданин комиссар.

– Я не комиссар, а слуга короля, – сказал начальник. – Мы не можем поймать этого неуловимого Марата, но мы сейчас поймали его слугу Лорана Басса с корректурами преступной газеты «Друг народа», и хоть он удрал от нас, но мы знаем, что яблоко недалеко падает от дерева. Наши отряды ищут Марата по всему округу.

– Гражданин...

– Я не гражданин, а офицер его величества короля.

– Господин, – продолжал Оже, – мы не знаем того, кого вы ищете. Нам неизвестен господин Басе и господин Марат. Здесь только...

– Что здесь только? Здесь только притон негров. Слуга покойного деда нынешнего короля, мой дед Эснамбук, имел десять тысяч таких черномазых, как вы. Когда он въезжал в Париж, десять золоченых карет везли его свиту и имущество. Его встречали министры, король у него обедал, кардинал Ришелье брал у него деньги взаймы... Проклятое время! – сказал офицер, садясь за стол и шпагой цепляя ночник.

Горящее масло побежало по скатерти, комната осветилась, и стены покрылись бегающими тенями. Негры, стоящие в комнате, молчали. Офицер осмотрелся, не обращая внимания на горящий стол, и сказал:

– Ну, кажется, здесь только одни черные. Этот негодяй Марат не отвечает на предписания властей, не является вовсе, пишет дерзкие письма в полицию о том, что если триста тысяч его ловят, а триста одна тысяча его прячут, то он никогда не попадет в руки властям. Неужели весь округ Кордельеров состоит из маратистов? Какие времена! Какая полиция! Словно младенцы, не могут разыскать типографию, где напечатан восемьдесят третий номер «Друга народа». Повесить бы всех типографщиков! Запретить бы печатать книги! Все зло и несчастье королевства от науки и печати!

Офицер заходил большими шагами по комнате. Негры, молча и бесшумно ступая по циновкам, убирали горящую скатерть. Другие поставили на стол шандалы. В комнате стало почти темно. Офицер продолжал, обращаясь к здоровенным сопровождавшим его солдатам:

– Ну что же, кончили?

– Еще осталась мансарда, – ответил рослый гвардеец в ботфортах и с седыми усами, оглушительно звеня шпорами при каждом движении.

– Скорее, скорее, – сказал офицер. – Разве год тому назад я думал, что мне так придется проводить ночи! Тогда девушки Пале-Рояля дюжинами сидели за столом в задних комнатах кофейни Робер-Манури. Тогда по двадцать свор лучших борзых мы выпускали в Бретани на графской охоте, тогда никаких Генеральных штатов не собирали в Париже и банда безродных буржуа не осмеливалась против воли короля назвать себя Национальным собранием. А сейчас... Впрочем, что сейчас! Если б я был королем, я перестрелял бы всех перепелов, чирикающих в зале Манежа. Они бы у меня двух шагов не пролетели по улице. Национальное собрание! Куча незаконного сброда – вот что такое Национальное собрание! Его выдумали мятежные умы, господа философы, безродная сволочь, не имеющая пятидесяти арпанов земли, но смеющая рассуждать о том о сем.

– Господин лейтенант тоже рассуждает, – тихо произнес Оже. – И рассуждает настолько громко, что может разбудить больного. Довожу до сведения господина лейтенанта, что мы являемся делегацией законно существующих Общин, что мы приехали с острова, лежащего на далеком океане, заявить о своей преданности французскому государству независимо от цвета нашей кожи. Мы – граждане острова Гаити, мы делегаты Национальной ассамблеи. Мы приехали с королевским пропуском, и речи господина лейтенанта нас удивляют.

Офицер смутился. Но ему помог вошедший гвардеец.

– Господин лейтенант, обыск окончен. Пойдемте дальше, если только здешние собаки не налаяли на соседний дом. Боюсь, что не найдем ничего и там.

Едва офицер ушел, уводя с собой отряд, как Марат вскочил, разъяренный, забыв о своем гриме. Оже взял его за руку и спокойно произнес:

– Друг народа, ложитесь, отдохните.

– Как? Вы думаете, я могу спать? Граждане, вы думаете, я цепляюсь за жизнь? Вы думаете, мне сладко дышать в этом смрадном Париже? Вы думаете, что можно сломать мою волю?..

Слова его прервал шум в коридоре. Марат остановился, прислушался и произнес:

– Имейте в виду, они возвращаются раза по три!

Но вошли двое негров. Один нес шандалы, по четыре свечи в каждом, другой подошел к окну и осмотрел плотность занавесок и створок. Марат бросил взгляд на окно. Там лежала кипа синей бумаги, той самой, что продавалась в палатке публичного писца под вывеской «Отец Кулон», около книжной лавки г-жи Авриль. Марат подошел к окну, схватил, не читая, кипу бумаги, роняя отдельные листы, понес ее вместе с банкой железных чернил и гусиными перьями к столу. Оже придвинул ему песочное сито. При полном безмолвии Марата негры расположились на циновках, подушках и маленьких табуретках неподалеку от ложа больного. Марат писал, почти не переводя духа, быстрым и нервным почерком, лишь изредка резким жестом хватал себя за руки и за ноги; лицо его искажалось от боли; чесотка, полученная от ночевки в денниках и конюшнях, временами переходила в нервный тик. После приступа Марат опять продолжал писать.

«ГОСПОДАМ ЧЛЕНАМ ПОЛИЦЕЙСКОГО ТРИБУНАЛА ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПАРИЖА

Милостивые государи! Мне предписано сегодня предстать пред вами по поводу предполагаемого нарушения предписания и правил, допущенного в №83 *моей газеты «Друг народа»*. Так как номер этот снабжен именем редактора и типографа и так как он вполне отвечает правилам, как и все остальные, то я, после недавнего гнусного покушения со стороны суда, усматриваю и в этом вызове грубую ловушку, имеющую целью выманить меня из пределов округа Кордельеров, обеспечивающего мне свободу. Подтвердите мне, действительно ли это предписание исходит от вашего трибунала. Я жду вашего ответа, чтобы сдать в печать свою газету.

Марат. Друг народа»

ПИСЬМО К ОКРУГУ СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ

«Прежде всего, сограждане, обращаюсь к вам с искренней благодарностью за сообщение мне постановлений, принятых относительно меня в общем собрании вашего округа; они продиктованы опасением разлада среди граждан, преданностью миру и общественному благу; побуждения эти делают честь вашим патриотическим чувствам и были всегда дороги моему сердцу. Но воздавая должное вашему патриотизму, я позволю себе осветить ваш поступок и предостеречь вас против происков тех коварных людей, которые очернили меня пред вами и стараются привести вас к тому, чтобы вы сами отвергли старания вашего же защитника.

Наговор на мою газету со стороны одного из городских депутатов мог преследовать единственную цель – поднять ваш округ против меня. Вы могли бы догадаться о его намерениях по тому ожесточению, с каким он стремился настроить вас против меня. Позвольте, однако, спросить вас, не он ли склонял вас сообщить ваше решение округам Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий в надежде поднять напротив меня?

Что касается обвинений, которые он себе позволил, то они столь же смешны, сколь мало обоснованы. Он заявил вам про мою газету, будто она провозглашает ложные принципы. Вместо того чтобы ограничиться простым указанием, ему следовало бы обрушиться на самые

принципы; этим он дал бы мне возможность выступить на их защиту, изложить вам те основания, которые убедили бы меня в их истинности, и мы в конце концов, разумеется, пришли бы к полному согласию. Он уверяет, что принципы мои могут лишь уничтожить дух единения и согласия, который должен царить между гражданами и теми, кого они избрали, поручив им блюсти общественное управление. Все это было бы чудесно, если бы администраторы были честны и неподкупны, но когда они только о том и мечтают, как бы сделаться независимыми от своих сограждан, чтобы притеснять их и обогащаться за их счет, тогда подобное слепое доверие, такое доверие было бы самым крайним несчастьем. Да и кто такие эти люди, которые себе одним присваивают право смотреть за общественным управлением? Баловни судьбы, пособники деспотизма и крючкотворства, академики, королевские пенсионеры, сластолюбцы, трусы, которые в дни опасности сидели, запершись, по домам и с трепетом дожидались конца всей тревоги. А в это время вы, в пыли, поту и крови, страдая от голода и смело глядя в лицо смерти, защищали свои очаги, низвергали деспотизм и мстили за отечество.

А потом, достигнув почестей ценою низостей и интриг, ревниво оберегая свое господствующее положение, они поднимаются против мужественных граждан, следящих за ними, под тем предлогом, что им одним, в силу избрания, поручено блюсти благо государства.

Но что случилось бы с нами 14 июля [*взятие Бастилии*], если бы мы слепо поверили им, если бы мы предоставили им судьбу Делонэ, Флесселя, Фулона, Бертье, если бы мы не вырвали у них приказа идти против Бастилии и разрушить ее? Что случилось бы с нами 5 октября, если бы мы не принудили их дать приказ двинуться на Версаль [*голод в Париже и привоз семьи Людовика XVI в Париж из Версаля*]? И что случилось бы с нами ныне, если бы мы продолжали полагаться на них? У них есть основания призывать вас к слепому доверию. Но, чтобы почувствовать, как мало они его заслуживают, вспомните, что до сего времени оказалось невозможным заставить продовольственную комиссию отринуть негодных своих сочленов; вспомните, что не легче было заставить и самый муниципалитет дать ясный и полный отчет; вспомните, что многие из его членов обвинялись в ужаснейших должностных злоупотреблениях.

Обратите затем внимание на скандальную роскошь этих муниципальных администраторов, содержащихся на счет народа, на пышность мэра и его помощников, на великолепие занимаемого им дворца, на богатство его обстановки, на роскошь его стола, когда он в один присест потребляет стоимость прокормления четырехсот бедняков. Подумайте, наконец, что эти же самые недостойные уполномоченные ваши, растрачивающие государственные богатства на свои удовольствия, насильственно вынуждают вас расплачиваться с жестокими кредиторами и безжалостно предадут вас ужасам тюремного заключения.

Вы ставите мне в упрек резкость и несдержанность, с которой я обрушиваюсь на врагов отечества, и вы предлагаете мне снять заголовок с моей газе-«ты под тем предлогом, что такой заголовок предполагает сочувствие части народа, который может признать истинным своим другом лишь того, кто утверждает только такие факты, на которые у него есть доказательства, кто лишь осторожно решается затронуть репутацию любимого министра Франции и кто в писаниях своих сохраняет уважение и приличие по отношению к публике...

Это все равно, как если бы я привлекал вас к ответственности за то, что вы разражались проклятиями при осаде Бастилии или во время похода против королевской гвардии, или все равно, как если бы я ставил вам на вид то, что вы без достаточной вежливости упрекали Делонэ в его вероломстве и не попросили его разрешения раскромсать его на части. Не поддавайтесь обману: война наша с врагами еще не окончена; ежедневно они ставят нам ловушки, и ежедневно приходится сражаться с ними; вы вменяете в преступление то, что я отчаянно бьюсь за ваше благо и выступаю против них с единственным оружием, которого они боятся. Что касается излюбленного министра Франции, то он до своего возвращения, пожалуй, еще мог порочить кого-нибудь, но здесь завеса сорвана: спросите-ка его, кто платил войскам, пришедшим, чтобы перерезать всех вас и превратить ваш город в пепел; спросите его, кто заставлял

голодать и отравлял вас столько времени; спросите его, какие надежные справки давал он вам относительно приготовлений к бегству королевской семьи в Мец; спросите его, кто скупает у вас всю звонкую монету, после того как уже скуплено все зерно, – а потом взгляните на его молчание и судите о его доблести.

Вы предлагаете мне расстаться с званием Друга народа: ничего большего не могли бы потребовать от меня самые жестокие наши враги. Как могли вы допустить столь безрассудное требование? Принимая это прекрасное звание, я подчинился единственно движению моего сердца; но я старался заслужить его своим усердием, преданностью родине, и мне кажется, что я оказался на высоте. Прислушайтесь к общественному мнению, посмотрите на толпу несчастных, угнетенных, преследуемых, которые каждый день обращаются ко мне за поддержкой против своих угнетателей, и спросите их, друг ли я народа. Впрочем, благодетеля мы узнаем по содеянным благодеяниям, а не по оценке облагодетельствованного – и неужели же вы, содействовавшие победам 14 июля и 6 октября, утрачиваете звание освободителей Франции только потому, что ваше отечество уже забыло о ваших заслугах? И неужели бестрепетный благородный человек, кидающийся в воду, чтобы вытащить оттуда своего ближнего, умаляется в своей роли спасителя только потому, что неблагодарный спасенный отказывается признать за ним это звание? Нет, нет, сограждане, правила, которые хотят внушить вам, вовсе не идут из глубины вашего сердца: честное и чувствительное, оно с негодованием отвергнет попытку злодеев, которым хотелось бы поднять вас против вашего защитника. Читайте «Друг народа» от 13-го числа сего месяца, вы там увидите, что он, не дожидаясь сегодняшнего дня, воздал вам должное. Читайте «Друг народа» каждый день, и вы увидите, что он мечтает лишь об одном – задушить ваших тиранов и сделать вас счастливыми.

Доктор Марат, Друг народа».

Облатки не нашлось. Доктор свернул письма длинной лентой и вогнал один конец письма в другую, тщательно разгладил сгибы, заботясь об уменьшении объема писем. Оже смотрел на его руки, на быстрые пальцы, тонкие, длинные, необычайно изящные, пальцы конспиратора, привыкшего к работе над письмами, над книгами секретной типографии, над тонкими столбиками латинской наборной кассы. Марат не написал никакого адреса, он положил письма в правый карман атласного жилета, туда, где обычно мюскадены, парикмахеры и франты-приказчики Парижа навешивали длинные цепочки несуществующих часов. Оже хотел предложить доставку этих писем, но, увидя жест Марата, остановился. Марат подошел к постели больного, взял его за руки и, убедившись, что жар спадает, удовлетворенно вздохнув, произнес:

– Ну, надобность в медицине проходит. Однако я хотел бы посидеть у вас до рассвета. Вы видите, какой беспокойный наш Париж по ночам.

Марат обращался к Оже. Тот переглянулся со старым негром, толстогубым морщинистым человеком в седом парике, с холодными светло-голубыми глазами. Старик, не глядя на Оже, едва заметным умным и важным кивком выразил свое согласие мулату. «Кто же у них старший, – думал Марат, – и кто они, эти странные люди?»

– Оставайтесь, Друг народа, – сказал Оже. – Мы должны вознаградить вас как врача, если только в наших силах будет вознаградить по заслугам Друга народа.

Марат желчно улыбнулся.

– Медицина – наука, а я не торговал истиной. Я прошу вас только о двух сухарях и чашке молока, если можно сейчас достать этот редкий напиток в Париже.

Просьба Марата была исполнена. С необычайным радушием и заботливостью черные депутаты Ассамблеи устроили Марату ночной ужин. Огромная плетеная фляга с вином, этой крепчайшей настойкой из благоуханных антильских растений, была принесена, но Марат покачал головой. Друг народа не пил ни капли вина, но ел с такой звериной жадностью и так скрипел зубами, отгрызая сухари, что этим ясно обнаруживал страшный голод, огромное истоще-

ние, до которого довели Марата-Невидимку парижские магистраты, умевшие организовать за недорогую плату тонкую и адскую полицейскую травлю.

Быстрыми шагами в комнату вошел человек в сером плаще, сдернул маску, скинул треуголку и сказал, нисколько не обращая внимания на Марата, еще не снявшего своего коричневого грима:

Рафаэль сделал ужасную вещь. Он шел по площади со мною вместе через мостовую дворца, четверо слуг проносили некую даму в желтой маске, а рядом с дамой в носилках качался в подвесном кольце синий квецаль, любимый попугай Рафаэля... Неосторожный юноша, он окликнул попугая, и тот ему ответил, дважды закричав: «Страна гор, страна гор». Дама остановила носилки, и один из слуг ударил Рафаэля, с которого соскочила маска. Дама бешено кричала: «Негры в Париже оскорбляют женщин!» Из-за решетки вышел офицер с часовыми, выхватил шпагу, Рафаэль открыл грудь и сказал: «Я безоружен и никого не оскорблял, дама говорит неправду». Хуже всего, что на шум поспешил с другой стороны площади господин Ламет, который узнал Рафаэля и возмущенно закричал:

– Так вот ты где, негодяй! Кто тебе разрешал отлучаться с плантации?

– Тише, тише, – прервал Оже, – остановись, Биассу, тут что-нибудь не так, тут что-нибудь не так.

– Что не так? – с бешенством повторил тот, кого называли Биассу. – Рафаэля поймали, его схватили, и два десятка черных рабов господина Ламета окружили его на конюшне. Я видел сам, как они сорвали с него камзол, обнажив плечо, заклеямили его каленым железом. Они поставили ему «Runaway» [беглый (англ.)]. Молодой Ламет не испугался жареного мяса в Париже, он ударил Рафаэля сапогом и кричал: «Теперь мы всюду узнаем тебя, беглый раб». Они тащили его по улице города ночью; толпа, лакеев, приказчиков и конторских счетоводов господина Ламета свистела и ликовала.

Говоривший встретился глазами с Маратом. Выражение глаз Друга народа, стиснутые зубы и поднятые кулаки вдруг обнаружили в нем прищельца в цветной среде. Говоривший не понимал, чем вызван гнев незнакомого человека, было ли это возмущение насилием над негром Рафаэлем, получившим гражданскую карточку без ведома своего владельца, или, наоборот, этот выкрашенный в коричневую краску француз; у которого белая кожа явно просвечивала под расстегнувшимися обшлагами на поднятых сжатых в кулаки руках, негодовал на негров. Молчание было общим. Потупя головы, все оставались в неподвижности, подавленные чувством гнетущей горечи.

Наконец, заговорил Оже:

– Да покарает их бог! Мы не знали, что Черный кодекс висит над нашей головой даже здесь, в городе благородной свободы. Четырнадцать лет тому назад в далеких саваннах, ночью, в палатке моего друга француза, аббата Рейналя, изгнанника здешней страны, я впервые прочел слова, возродившие мое сердце. Он привез бумагу тринадцати Соединенных штатов. Ее назвали «Декларацией независимости», в ней было написано: «Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными, что им даны их создателем некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Вот прошло четырнадцать лет, и мне в мое усталое сердце еще раз постучала птица свободы и счастья. Наша Франция в тысячу раз лучше повторила священные слова тринадцати штатов. Как не гордиться нам, что наше государство громко, на весь мир сказало о правах человека и гражданина! Франция кликнула на весь мир: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Наши друзья, наши французские друзья советовали нам обратиться в Великую ассамблею свободного народа. Мы покинули наши Красные и Белые горы, мы собрали золото с островов, деревень и поселков, нам обещали свободу. Мы впервые ехали по морю на корабле, везшем цветных и черных людей, не будучи при этом плавучим кладбищем черных рабов, как в Манеже назвал их господин Мирабо. Мы забыли, что этот бриг «Санпарейль» только потому

и назывался бесподобным, что был первым по количеству перевезенных рабов, что сам французский король был владельцем этой негрской плавучей гробницы. Мы впервые за всю нашу несчастную жизнь смотрели с палубы, как белая пена взлетает до самых парусов, как птицы не успевают садиться на рей, и под нашей африканской кожей сердце впервые пело, как птица. Из Сен-Мало мы спешно ехали в Париж по вашим пустынным дорогам. Мы видели, как по ночам пылают дворцы и деревни, дважды мы слышали, как пушки били в стороне от дороги, дважды отряды вооруженных крестьян с волнением смотрели в наши желтые дамбланши, в наши синие кареты. Мы привезли в Париж два клада, и оба клада положили на трибуну вашей великой Национальной ассамблеи. Вы помните, это была ночь, вокруг нас стояли друзья: господин Бриссо, господин Траси, господин Грегуар, господин Ларошфуко, господин Корнейль, господин Петион, господин Сийэс, господин Лавуазье...

Марат вздрогнул, брови его сдвинулись. Он гневно закричал:

– Господин Лавуазье?.. Директор пороховых заводов! Королевский откупщик, химик-недоучка! Первый богач Парижа, окруживший столицу Франции стеною таможенных бойниц, налоговых бастионов!.. Ни пройти, ни проехать, ни взад, ни вперед без того, чтобы не заплатить генеральному фермеру господину Лавуазье... Стены в тридцать три миллиона ливров, собранных у беднейших французов... Граждане, цветные друзья моего народа, зачем вы проносите имя Лавуазье, этого продавца подмоченного табака и отравленного сидра?

Биассу, обращаясь к Оже, сказал:

– Оже, мы все это помним. Если ты обращаешься к этому перекрашенному гражданину, то...

– Ты разгорячен, Биассу, остановись! – возразил Оже. – Это не перекрашенный гражданин, это доктор Марат, Друг народа. Первый белый, первый француз, которого черный цвет кожи нынче спас от мести белых людей.

Биассу низко поклонился, разводя руками. Оже продолжал:

– Гражданин Марат, мы видели вас в ту ночь, вы ходили, прихрамывая, вместе с господином Робеспьером за тесовой оградой трибун, там, где за головами депутатов стояла публика. Мы дважды слышали ваш голос, когда в перерывах вносили новые факелы. Дважды ваша тень покрыла меня, когда, указывая на трибуну английского гостя, господина Юнга, сидевшего с швейцарским гостем, господином Дюмоном, вы крикнули: «Они ошибутся, эти стреляные парламентские волки, они ошибутся, считая голос французского народа младенческим лепетом парижской свободы. Они еще услышат гром!».

– Не помню, – сказал Марат, – кажется, это было собрание, на котором Камюс предложил учредить национальный архив из пергаментной дворянской рвани. Дворяне беспокоились, что погибнут их титулы, их бумажные права на труд крестьян. Лучше бы они подумали о том, что скоро погибнут их деревянные головы. Я помню еще, что этот дурак Бальи предложил отменить рукоплескания, так как они зачастую поощряют глупых ораторов, и вся зала Манежа огласилась бешеными аплодисментами парижского народа. Французы ликовали, видя, как Бальи превращается в красного индюка.

– Нет, это было не то собрание, – сказал Оже, сурово нахмурившись. – Я хочу напомнить доктору Марату только то собрание, когда нам дали слово, когда мы говорили о своих обидах и о своих ожиданиях, когда мы на алтарь Франции принесли наши два клада, когда с трибуны я говорил, что первый клад – это наша горячая вера в свободу французского народа, наша жажда отдать ей все наши братские силы, а второй клад – это вырытые из земли и скопленные трудом и горем шесть миллионов золотых ливров, тайно привезенные нами в подарок Франции. Вы помните, доктор Марат, как президент Бальи ответил на то и на другое: «Ни одна часть нации, пришедшей сюда взывать о своих правах, не будет взывать о них тщетно». Господин Бальи при этом прочел грамоту, подписанную господином королевским банкиром, о том, что «золото, привезенное черными и цветными людьми с острова Гаити из колонии святого Доми-

ника, хотя и старой испанской чеканки, но золото доброго качества, и полного веса на шесть миллионов ливров». Тут тоже были аплодисменты, гражданин Марат! Наши старики, знавшие тайны подземных сокровищ, вырыли их как выкуп за тех, кого свободная Франция должна освободить из рабства. Верните нам проданных братьев, жен, разлученных с мужьями, детей, оторванных от матерей. Вот о чем мы просили, вот о чем мы просим. Разве можно отвечать на это клеймом беглого раба здесь, в Париже! Неужели мало господину Ламету рабов и денег! У него за океаном девяносто три сахарных завода и шестнадцать кофейных плантаций. Зачем его брату клеймить нашего Рафаэля? Разве недостаточен привезенный нами выкуп? Разве брат его не член Национальной ассамблеи? Разве на улицах Парижа мы также должны опасаться собак, вскормленных негрским мясом, как наши черные братья в саваннах? И не странно ли, гражданин Марат, – если только не ошибся Биассу, – не странно ли, гражданин Марат, что в Париже клеймят английским клеймом, а не знаком французской лилии, как делали до сих пор вы, благородные французы? Или господин Ламет, почитая английские законы, пренебрегает уже старым гербом королевской Франции? Что нам делать теперь, гражданин Марат? Кого просить, гражданин Марат? Куда нам деваться, гражданин Марат?

– Вот что! – качая головой, шептал Марат. – Вот как!

В смятении он встал и заходил по комнате.

– Вот как можно жить в Париже и ничего не знать! Я ничего, ничего об этом не знал. Я скрываюсь от преследований. Я издаю газету во имя революции. Нынче ночью от белого агента магистратов меня спасает черная кожа раба, нынче ночью свободного негра клеймят французские рабовладельцы. Разве можно говорить, что революция кончилась? Я задыхаюсь! Дайте подумать обо всем этом, друзья!..

Марат остановился, затем вдруг поднял голову, жестко усмехнулся с видом полного разочарования:

– Ничего не могу сказать вам, друзья, мне горько все, что я услышал. Мне горько то, что вы приехали с горячих рек на берега нашей Сены, покрытой снегом, что легкие вашего товарища, лежащего здесь, простужены и наполнились кровью. Вы сделали тяжелый путь в поисках свободы. Что ответит вам французский народ? В «Обществе друзей черного народа», где заседают господа депутаты с берегов Жиронды, вы не найдете друзей народа. Вот вы назвали господина Лавуазье. А знаете ли вы, кто этот Лавуазье? Когда разъяренный Париж пошел штурмом на королевскую Бастилию, кто как не Лефоше, помощник господина Лавуазье, вице-директор Арсенала, отпускал пороховые бочки защитникам королевской тюрьмы? А? Что вы скажете на это?

– Как здоровье Туссена? – спросил Биассу, перебивая Марата.

Оже взглянул на доктора, как бы передавая ему вопрос.

– Ваш больной вне опасности, – глухо сказал Марат, – он бредит латынью, как испанский иезуит. Кто научил его латыни?

– Некий старый аббат, – ответил Биассу. – Доктор Марат, у вас на лице столько удивления, что я должен поделиться с вами печальным наблюдением. Мы вместе с моим другом Шельшером, в доме которого живем, смотрели во «Французском театре» зрелище под названием «Черный, каких мало среди белых, или Негр Адонис». Французская публика показывает на сцене крашенного человека, все достоинство которого состоит в том, что он отдает жизнь, спасая своего ничтожного и глупого господина. Неужели думаете вы, что все достоинства наших племен будут всегда состоять в том, что мы добровольно будем кормить собак господина Массиака! Не каждый из нас «Адонис»!

– Где Адонис? – прошептал больной в постели и, приподнявшись на локте, открыл удивленные, большие, сохранявшие еще лихорадочный блеск глаза.

Все встали за исключением Марата. У всех на лицах отразилась живая и самозабвенная радость. Оже и Биассу подошли к больному. Они стояли с выражением такой почтительности, такой огромной радости, что, казалось, совсем забыли о присутствии постороннего человека.

– Бреда, дорогой Бреда, дорогой начальник! Как хорошо, что ты заговорил! Как хорошо, что к тебе вернулась память! Адонис придет, Адонис пошел за врачом.

– Мне хочется пить, – сказал больной.

Выпив глоток воды, он спросил только одно:

– Когда декрет?

– Можно ли завтра, начальник? – отвечал Оже. – Можно ли докладывать тебе завтра, когда ты снова будешь в твоей комнате? Там все книги, там все твои письма, там ты прочтешь и о том, как нам хотят помочь «Друзья» и как собрания в отеле Массиака с двенадцатью капитанами хотят помешать нам в Париже.

Больной сказал:

– Мне нельзя болеть, я должен быть здоровым, и я обойдусь без врачей так же, как, будучи мальчишкой, обходился без колдунов. – Он выпрямился, худой, маленького роста, стройный, необычайно быстрый, и остановил глаза, услышав смех Марата.

– Вы правы, мой черный друг, вы правы. Лошадей лечить лучше, чем людей. Неблагодарность мерина удивляет меньше, чем скотство в человеке.

– Кто это? – спросил больной и закашлялся.

– Я доктор Марат, меня прозвали Другом народа. Я пришел сюда по просьбе вашего брата, который бегал по улицам Парижа, разыскивая врача. Я пришел, я помог вам, вам теперь легче, я могу уходить. Но только дайте мне воды, какую-нибудь тряпку. Как видите, мне плохо и в черной и в белой коже.

Больной слушал внимательно.

– Я заслужил ваш гнев, конечно, в меньшей степени, чем доктор Марат заслуживает мое уважение... Должно быть, уже немало дней, как я впервые потерял память, и очень немного минут прошло с тех пор, как она снова со мною... Получил ли врач положенное ему золото? – спросил больной, быстро поворачиваясь к Оже.

На это ответил сам Марат:

– Таких, как я, не знающих завтрашнего ночлега, честных граждан, преданных революции, в Париже сорок тысяч человек. Нас кормит французский народ, мы ни с кого не берем никакой платы. Жалею, что вы не обратились к доктору Месмеру, магнетическому шарлатану, любимцу королевы. Это животное лечило бы вас животным магнетизмом. Глупость, от которой еще ни разу никто не выздоровел, но очень многие заболели. И тогда вам пришлось бы кинуть золотой подвесок к вашему испанскому золоту. Вот любитель денег! Вот истинный врач!

Раздался стук в комнату. Стук условный. Все переглянулись. Больной посмотрел в сторону входа и громко, отчетливо, как пароль, произнес:

– Квискейя.

Вошла женщина, поклонилась больному и с удивлением обвела комнату глазами.

– Кого вы ищете, сестра Шельшер? – спросил Оже. Но она уже нашла сама. Она узнала Марата по одежде, улыбнулась и сказала:

– Светает. Я была на овощном рынке, а сейчас на углу нашей улицы столкнулась с вашим слугою. Он переоделся нищим и при виде меня сказал только одну непонятную фразу: «Попросите хозяина вынести мне семь су». Я уверена, что он меня не узнал, мы виделись ночью, зато я его узнала, так как тогда он нес фонарь.

– Семь су, – повторил Марат. – Я могу дать семь су этому нищему, если граждане разрешат пригласить его сюда.

Взоры всех обратились в сторону больного. Тот кивнул головой. Через несколько минут Лоран Басе с большой пестрой котомкой дорожного попрошайки был введен в комнату. Лукаво сощурившись, он поклонился, не будучи уверен, следует ли ему узнать в черном человеке неуловимого Друга народа. Короткими условными фразами Марат успокоил своего телохранителя. Лоран Басе вынул из котомки ворох корректур восьмьдесят четвертого номера «Друга народа» и разложил перед Маратом. Тот быстро, привычным взглядом узнавая им же написанные и трижды прочитанные статьи, сообщения и заметки, перелистал номер несколько раз и корявым почерком дрожащей руки написал, издеваясь над термином королевского цензора, *Imprimatur* [*печатать позволяется*]. Лоран Басе встал, прошептал быстро:

– Вам сегодня лучше не появляться в округе Кордельеров. Через посредство «Монитора» вам собираются предложить добровольную явку на суд Национального собрания.

– Дураки, – сказал Марат, – они думают, что я читаю эту сволочь.

Лоран Басе продолжал:

– Есть известия, что аристократы, успевшие перебежать границы вместе с принцами и родней австриячки, поговаривают о войне, о сожжении Парижа.

– Они еще поговаривают, а мы уже конфисковали их имения три дня тому назад. Пусть бесятся попы, мы уже конфисковали добро монастырских князей второго ноября.

– Сегодня я первый раз видел новые ассигнации вместо звонкой монеты, – сказал Лоран Басе. – Мне это на руку. Легче носить жалованье типографским наборщикам.

– Прошу тебя, Лоран, как друга, – сказал Марат, – доставить эти письма по назначению, но смотри, друг, из почтальона не превратись в висельника. Поживем, хотя многим хотелось бы видеть нас мертвыми. На нас обижаются за то, что мы живы. Что же поделаешь, мы вежливы, но не до такой степени, чтобы перерезать себе шею. Прощай, Друг.

Пожимая руку Лорану, Марат шепнул ему:

– Я сделаю отметку белым камнем на углу левой башни Нотр-Дам, как всегда, поставлю цифру. Вернешься из типографии, пройди мимо и перечеркни. Я буду знать, что ты прочел и в назначенный час будешь под старым деревом в Пале-Рояле.

Лоран Басе ушел. Марат подошел к своему пациенту, державшему в руках книгу, и спросил, как он себя чувствует. Негры, бывшие в комнате, один за другим уходили. Больной отложил книгу и сказал:

– Ваша помощь пошла впрок, доктор Марат. Можете ли ответить на один вопрос, а быть может, даже и на два?

Марат кивнул.

– Знаете ли вы, что Шельшер, брат этой девушки, которая входила в комнату, был вместе с вами принят в масонскую ложу «Великая Англия» в Лондоне? И еще – знаете ли вы аббата Рейналя, написавшего эту книгу?

Марат взял четвертый том сожженной книги аббата, ставшего атеистом, революционером, открытым врагом христианской религии, бежавшего из Франции в те дни, когда палач, сжегший книгу, должен был сжечь ее автора.

Осыпая, как искрами, взглядами мулата и старого негра, бесшумно, вразвалку вошедшего в комнату, доктор прочел: «Нигде христианство так не отравляло людей ядом, как в богатых колониях Нового света. Там богачи религией прикрывают свои пороки, а людей, имеющих одну только разницу в цвете кожи, наставляют в добродетели, которая вся состоит в покорности раба господину. Скоро настанет век великих республик. Белые и черные рабы соединятся, освобождая мир». – Не люблю беглых попов, – сказал Марат, – даже когда они пишут «Философическую и политическую историю об учреждениях и торговле европейцев в обеих Индиях». Знаю вот эти картинки, – Марат постучал ногтем по гравюре, изображающей, как колонист продает молодую женщину на невольничий корабль. – Мне тоже не по душе торговля

рабами, но еще больше не по душе мне материалисты и атеисты. На первый ваш вопрос отвечать не желаю, я хочу спать.

Марат шатающейся походкой подошел к циновке и, не глядя на своего пациента, смотревшего внимательно спокойными глазами, заснул на циновке.

ПИСЬМО САВИНЬЕНЫ ДЕ ФРОМОН К ФРАНСУА ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО

«2 января 1790.

Мой дорогой Просветитель и благочестивый Наставник. Вы можете не упрекать вашу усердную ученицу, во-первых, потому, что ее вынужденное молчание не было длительным, а во-вторых, сразу заболела после простуды, схваченной мною в ту самую ночь, когда в городе выпал небывалый снег и мы с Мадленой и Кавалером должны были идти пешком от самого моста Ошанж до Турнельского моста, так как свалились два колеса от кареты. Какое счастье, что мы еще не разбились! Мадлена локтем проломила толстое окно из витимской слюды. Я выпала через дверцу и запуталась в юбках Мадлены. Наш кучер пошел искать помощи и пропал; мы остались одни, не зная, что делать, и с ужасом смотрели на уцелевший догорающий фонарь кареты. Я даже подумывала о том, что, пожалуй, решилась бы проехать в экипаже этих ужасных фиакров, но их нигде не было. Вот тут и произошел случай, о котором я хочу вам рассказать. Из переулочка вышел молодой человек, смелая и благородная походка которого внушила нам полное доверие. Если бы вы знали, святой отец, как он оправдал это доверие! Конечно, к нему обратилась не я, а Мадлена. Он ответил ей, что ищет потерянного врача, мне показалось, что он лжет, но, чтобы заручиться провожатым, я ему обещала послать врача, будто бы живущего в нашем отеле. И вот тут слушайте: он оказался красавцем, кавалером какого-то испанского ордена, но, увы, он был чернокожим. Он был африканцем... Какое мне дело! — он был красив! К нему вполне подходило его имя Адонис. Я вспомнила ваши уроки; уверяю вас! Тысячекратно уверяю, что я превзошла своего учителя. Страницы ваших «Опасных связей» скользят по берегу, а я искупалась в самом потоке. В отеле я шепнула Мадлене, чтобы она подготовила моего Адониса, дала ему горячего вина и несколько капель из подаренного вами флакона. Ничего, подумала я, ничего. Будет маленькая ошибка в мифологии: сделаем так, чтобы Адонис вместо Эскулапа нашел Венеру. Мадлена осветила всю комнату, обмахнула пером серебряные зеркала по стенам и поставила около алькова большой фарфоровый таз, ваш любимый, розовый, прозрачный, так хорошо освещающий комнату, когда в нем остаются всего две глиняные лампы. Уверяю вас, что в ту минуту, когда Мадлена меня расшнуровывала, я дрожала не из страха, а только от любопытства к черной коже. Может ли ваша приятельница, эта испаночка Кабарюс (говорят, она «завладела» сердцем г-на Тальена, но разве это сердчишко — неприступная крепость? Правда ли, что ей наскучила связь с вами и она побывала в руках собственного брата?)... Я была хороша.

— Адонис неутомим. Но под утро неожиданно вернулся из Версаля граф Анри, и мне пришлось быстро спрятать моего черного любовника в комнате Мадлены и сделать так, чтобы не пахло горьким маслом. Я не впустила Анри, сославшись на головную боль и простуду, однако мне не удалось заснуть. Я была разбужена бешеным лаем борзых на каменном дворе перед моими окнами. На стук Анри я открыла дверь. Он побежал к окну, весело смеясь, он быстро распахнул гардины, открыл жалюзи, и при свете факелов я увидела, как собаки рвали на части тело моего Адониса. Он отбивался бешено до тех пор, пока борзая сука, прозванная Бритвой, не впиалась ему в горло. Анри любовался этим зрелищем и говорил: «Вот видишь, как они дрессированы, этому черному вору не удалось похитить невинности даже нашей Мадлены, несмотря на то, что ее целомудрие побывало в двадцати ломбардах». Эти слова заставили меня рассмеяться. Моя «головная боль» прошла; я бросилась на шею Анри, и, как говорят поэты,

декабрьская Аврора, пробравшись к нам в альков, застала нас еще не спящими. Можете ли вы меня хоть в чем-нибудь после этого упрекнуть? Я была безупречна, я могу стать наставницей своего наставника. Я, вероятно, ошибаюсь, думая, что заболела от простуды, просто у меня кружилась голова оттого, что вечером приходил г-н Бриссо с г-ном Верньо, с ними кто-то из магистрата и небезызвестный ваш соперник Ретиф де ля Бретонн, автор «Развращенного крестьянина». Я слышала их разговор с мужем. Оказывается, старшая дочь Ретифа, восемнадцатилетняя кокетка, влюбилась в некоего Оже, богатого мулата. Этот Оже приехал из Антилий по каким-то политическим делам (какие могут быть политические дела у негров? Объясните мне, пожалуйста, почему их всех не посадят в Бисетр, или Ла Форс, или в Сен-Пелажи? Мало ли тюрем для рабов?). Оже взволновал Ретифа рассказами о том, что негры исчезают в Париже. Ретиф взволновал Верньо, Верньо взволновал Бриссо, а этот черный дрозд с берегов Жиронды не нашел ничего лучшего, как прийти к моему мужу и просить его Помощи, так как Анри имеет в подчинении всех начальников парижских кордегардий. Пока они говорили, я волновалась... Но Анри! Ах, я его почти полюбила, хотя он и мой муж! Он оказался на высоте; он был истым дворянином. Он не сказал ни одного слова невпопад. И когда они ушли, меня беспокоило только одно: почему они говорили о *нескольких* пропавших? Неужели создатель мира так щедр, что сотворил многих черных красавцев, и неужели я так несчастна, что какая-нибудь негодяйка обогнала меня в опыте с неграми? Уж не ваша ли Кабарюс? Нет! Тысячу раз нет! Но все-таки. Когда увидите ее снова у герцога Орлеанского, спросите, не перебила ли у меня мой запретный плод эта новая Ева из старого Ада.

Прощайте, дорогой Франсуа. Поручаю себя вашим молитвам. Правда ли, говорят, что граф Мирабо написал в тюрьме книжку «Эротика»? Если она украшена гравюрами Моро Младшего, то пришлите ее мне с первым выстрелом пушек вашей батареи, если сами не приедете скоро в Париж. Я хочу позабавиться. Говорят, жизнь становится опасной. У моей кузины конфисковано имение! В ее замке крестьяне сожгли все титры! Забудемся! Предадимся забавам! Дорогой Франсуа, милый артиллерист, доказавший меткость своей стрельбы. Видите, как вы меня просветили. Оставляю это на вашей совести (я хочу сказать, если вы остановились на полдороге). Прощайте!

С. де Ф.»

2. Черные и белые

*Надо опасаться отчаяния людей, которым более нечего терять,
ибо все у них отнято.*

Они могут захотеть овладеть всем миром.

De Pradt

Отец Кулон полагал, что в этот день поздно открыл свой киоск. Было холодно. Январское солнце скупо светило над Парижем.

Отец Кулон вынул засовы, снял заслонку из досок. Огромный карабасс, запряженный четверкой лошадей, прогремел по дороге, отец Кулон почтительно снял меховую шапку. Молодой генерал Лафайет, комендант Национальной гвардии, с восемью офицерами в карабассе, сделал приятную улыбку старому владельцу киоска, десятки лет подряд выставляющему по утрам деревянную вывеску «Публичный писец» над карнизом своего киоска. В этот день ревматические боли едва не удержали отца Кулона в постели. Однако он вышел, несмотря на боль в суставах. Отец Кулон осмотрелся, расставил чернильницы, пересмотрел запас очиненных перьев и ситки с золотистым песком для просушки чернил.

– Плохие времена, – ворчал отец Кулон, – все меньше становится работы, приходится в ожидании заказчиков заниматься чтением вместо письма.

Отец Кулон с неудовольствием заметил, что ветви кустарника, выросшего на деревянной крыше киоска, свисают на карниз. Капли недавнего дождя падают на прилавок. Он вытер дождевые пятна и, высунувшись по пояс из киоска, с неудовольствием осмотрел улицу.

Господин Феликс Бертэн, занимавший два окна дома номер восемьдесят восемь, не открыл своей булочной; ленточное заведение госпожи Лаваль, этажом выше, казалось спящим, так как окна были занавешены; щеточное заведение господина Грокалью не обнаруживало признаков жизни. Старая Маргота, выходявшая по утрам с переносной печью, столами, скамейками, двумя большими псами и располагавшаяся на углу под огромным зонтом, спасавшим ее с горячими пирожками и ласковыми собаками от солнца и от дождей, в этот день тоже отсутствовала.

– Плохие времена, – повторил старик, чувствуя, как боль грызет его суставы. – Погода меняется, и холоднее становится в мире. Двадцать лет Маргота приходит изо дня в день на этот угол. Тревожно на сердце. С тех пор как короля провезли из Версаля мимо этой палатки, не повторялось отсутствие Марготы и закрытие заведений моих соседей. Неужели опять что-нибудь случится?

Чтоб отделаться от неприятных мыслей, отец Кулон достал с полки первую попавшуюся книжку. Это был томик басен Флориана. Отец Кулон давал книги из своей палатки соседям, любившим от нечего делать почитать. Сейчас он сам расположился на табурете, открыл книгу. Из маленького томика выпал рисунок; какой-то читатель заложил им басню, подчеркнув верхнюю строку:

Секрет мой состоит в уменьи выбирать Собак позлее.

Рисунок изображал короля и двух министров на своре. Отец Кулон с досадой закрыл книгу, спрашивая себя, кто последний брал у него Флориана. Эти размышления были прерваны словами незаметно подошедшего человека.

– Господин писец, не можете ли написать письмо под мою диктовку?

Отец Кулон вздрогнул. Заказчик, говоривший с сильным иностранным акцентом, улыбался ласково и приятно.

– Извольте сударь, да будет ваш приход началом хорошего дня. Хотя позднее утро, но до вас не было еще ни одного заказчика.

– Вот как, – сказал посетитель, – а мои часы показывают шесть часов утра. Разве вы не видите по солнцу, что это так?

Отец Кулон с облегчением вздохнул:

– Боже мой, ведь в самом деле раннее утро. Мои часы остановились на десяти часах вчера вечером, только и всего, а я-то, чудак, испугался, что остановилась жизнь Парижа...

– Сударь, вы разговорчивы, а мне некогда, – прервал незнакомец.

Отец Кулон не привык к такому обращению. Пожевывая старыми морщинистыми губами, он придвинул поближе стопу синей бумаги, открыл железную банку чернил и прогнусавил:

– К услугам господина.

– Пишите, – скомандовал заказчик: – «Друг народа посылает в Отель де Вилль парижским магистратам и всем честным гражданам предупреждение о том, что директор пороховых заводов, подкупленный врагами народа, ведет переговоры о продаже пороховых бочек прусскому королю, а для того подготавливает отправку сорока тысяч бочек в склады, построенные в районе Вальми и Тионвиля. Академик Лавуазье, директор пороховых заводов...»

Неосторожным поворотом локтя отец Кулон опрокинул чернильницу, и вся страница оказалась испорчена.

– Сейчас, гражданин, сейчас, простите пожалуйста. Вот возьму новый лист, а чтоб вам не беспокоиться диктовать, дайте я перепишу с вашего листка.

Отец Кулон с неожиданной быстротой отогнул край синеватого документа, бывшего в руках заказчика, но тот быстро рванул рукой, прежде чем старый, выдавший виды и знавший немало уличных секретов отец Кулон успел прочесть первую строку. Он увидел только первые два слова, вернее – слово и несколько букв: «Лорд В...»

Хитрый писец виновато опустил глаза и стал тщательно вытирать стол, сплошь залитый чернилами. Занятие это отняло столько времени, что подошли еще двое других заказчиков, а немного погодя старая Маргота появилась с тележкой, которую везли две собаки, и с племянницей, несшей корзинки. Еще прошла минута, и старуха уже громко здоровалась с отцом Кулоном, в то время как племянница раскрывала зонтик и расставляла все приспособления пирожного заведения бабушки Марготы. Из-за угла показался сержант ближайшего дозора со шпагой, змеевидной лентой через плечо, в белом парике, в рваной синей треуголке над седыми бровями и с большим красным носом. Несмотря на утренний час, сержант был навеселе. Он громко поздоровался с пирожницей и подошел к прилавку писца.

– Слушайте, старик, – сказал он, – нет ли холодной воды? Пить хочу, как святой Иоанн в пустыне. Надо попросить, конечно, Марготу, но чертовка обманула меня, не выходит за меня замуж.

– Когда ты замолчишь, старый греховодник! – крикнула пирожница. – Про тебя правду говорят, что ты языком можешь почесать у себя за ухом.

Отец Кулон, не обращая внимания на заказчиков, достал флягу, приносимую им с собой в палатку, и протянул ее сержанту.

– Должно быть; вы так заняты, что нам будет некогда переговорить, – раздраженно заметил заказчик-иностранец, засовывая свой документ за обшлаг и с недовольными жестами отходя от палатки. – Я подойду, когда освободитесь.

– К услугам граждан, – сказал отец Кулон.

Сержант, пошатываясь, отошел от палатки писца и, перейдя улицу, низко поклонился пирожнице.

– Марготона! Ты молодец, ты самая умная женщина округа. Я выпил, теперь надо поесть, дай пирожка!

Отец Кулон не сводил глаз с темно-голубого клочка бумаги, сложенного вчетверо и упавшего в пятнадцати – двадцати шагах от палатки. Не говоря ни слова, он бросил перо и, при-

храмывая, выбежал из киоска. Он быстро спрятал документ, оброненный иностранным заказчиком, и, вернувшись к прилавку, стал писать под диктовку письма в деревню с перечнем десятков поклонов и приветствий от сына к деревенским родителям.

День прошел: миновали январские сумерки. Зеленоватое небо темнело над Парижем. Края высоких облаков светились едва заметной, тонкой серебряной каймой.

Отец Кулон записывал свою палатку. Погасив лампу, он задвигал засовом ставни и собирался уходить. День был ему очень длинен, так как писец пришел раньше обычного времени, а набор национальных гвардейцев, объявленный утром, вызвал прилив горделивых чувств у парижской молодежи. Диктовали письма отцам, матерям, любовницам и невестам.

В темной палатке, заканчивая свою работу. Отец Кулон слышал, как затихла улица, как вдалеке девушки, расставаясь друг с другом, переключались через садовую изгородь:

– Покойной ночи, Анна!

– Добрый путь, Сюжетта!

Пришла еще минута. Уже совсем в отдалении снова послышалась переключка девушек:

– Будь счастлива, Сюзанна!

– Приятных снов, Аннета!

И вдруг раздался выстрел. Щепки посыпались с крыши, ободранные свинцом. Отец Кулон вздрогнул, выбежал из палатки, и в ту же минуту второй выстрел уложил его на месте.

Два человека, перебегая через опустевшую улицу, быстро обшарили его карманы. Один, вынимая измятый кусок синей бумаги, с бешенством прошипел другому по-английски:

– Вот вам! Чтоб это было в последний раз! Как глупо обращаться к уличному писцу! Хорошо, что эти проклятые французы разбегаются от выстрелов. Крик зарезанного созвал бы всю улицу, а выстрел очищает целый квартал.

Затем оба быстрыми шагами скрылись. Еле дыша, в полном молчании дошли они до «Книжной лавки господина Авриля». Там легкая вискетка с громадными задними колесами приняла их в свою корзинку. И, качаясь на английских рессорах модного экипажа, кучер погнал лошадей с молчаливыми пассажирами. Вискетка летела в Сен-Жерменское предместье.

Английский ученый экономист, путешественник Артур Юнг с некоторым нетерпением ходил по комнатам, присаживался, вычислял стоимость паровых машин, поставленных герцогом Орлеанским на своей шелковой фабрике, и с удовольствием говорил про себя:

Он прогорит, он несомненно прогорит!

Клерк, выполнявший роль письмоводителя и секретаря при особе знаменитого путешественника, расшифровывал красивым английским почерком стенограмму, продиктованную господином Юнгом, и улыбался, открывая рот до ушей при каждом радостном восклицании своего господина.

– Поможет ли нам революция в Париже? Как умно сделали наши лорды, участвуя в промышленной жизни наряду с горожанами. Во Франции хозяйство организуют буржуа, в то время как аристократы уничтожают богатства нации. Нет, Франция нам не опасна! Герцог Орлеанский с паровыми машинами – это не конкурент нашим лордам и нашей доброй старой стране.

Вошедший лакей стал в дверях. Юнг с живостью обернулся.

– Сэр, вернулись Бигби и Джонсон.

– Прекрасно! – закричал Юнг.

Молчаливый клерк, не говоря ни слова, встал со стенограммами и ушел из кабинета, не дожидаясь приглашения удалиться.

– Прекрасно, сэр! Все удачно, сэр! – начали наперебой говорить молодые франты. – Бигби даже не виноват. Он переделал жилет и, позабыв об этом, думал, что потерял письмо.

Протягивая мятую синюю бумагу Юнгу, Джонсон, спрятав левую руку за спину, легким толчком предложил молчать своему товарищу.

Юнг не сказал ни слова. Молодые люди ушли. Срезав фитиль в лампе и вытянув его щипчиками, Юнг разгладил измятый листок и снова перечитал давно известную инструкцию, словно желая удостовериться, что ее не подменили. В ней было написано:

«Лорд Вэллоутгби встревожен отсутствием регулярных сообщений, причем ему известны все обстоятельства, могущие затруднять движение по французским дорогам. Ему известно также, что не эти обстоятельства являются причиной отсутствия сообщений. Его светлость встревожен вашим известием о том, что выработка пороха на французских заводах достигла в этом году трех миллионов восьмисот тысяч фунтов. Проверьте, дорогой сэр: ведь это удвоение всего в какие-нибудь четыре года. Ваше сообщение об аресте директора пороховых заводов г-на Лавуазье по подозрению в снабжении Бастилии нас вполне удовлетворило. Опыты этого химика судьба может остановить, очевидно, только в случае констатирования его связей ну хотя бы с герцогом Брауншвейгским или с прусским королем. Бросьте взгляд в этом направлении. Старший секретарь его светлости получил сообщение о том, что Франция готовит провиантские склады на севере. Мы имеем также сведения о том, что господин Лавуазье как генеральный фермер не пользуется любовью и доверием парижских горожан, охваченных сейчас безумием подозрительности и разъяренных кровожадностью преступников. Его светлость также интересуют сообщения ваши о том, что Франция намерена выпускать новые бумажные деньги.

Не медлите с присылкой чистых, неизмятых образцов с указанием фамилий гравировщиков монетного двора...»

Юнг не стал читать дальше. На полях были отметки, сделанные рукой его помощника: имена укрепленных пунктов и военных приготовлений на востоке Франции.

Академик Лавуазье жил на пороховом заводе. Его окна выходили на двор Арсенала. В верхнем этаже была жилая половина квартиры великого химика. Холодная большая белая зала с белыми занавесками, креслами, банкетками и диванами, обитыми белым штофом и муаром. Часть мебели покрыта опрятными белыми чехлами. На стенах картины, также завешенные белыми чехлами. С первых дней революции хозяйка госпожа Лавуазье, дочь знаменитого откупщика по фамилии Польз, сочла целесообразным надеть белые чехлы на эти портреты. Господин Лавуазье во всем повиновался супруге, «отличавшейся твердым характером, деловитостью и приданым в восемьдесят тысяч ливров». На белых круглых и овальных столах большой пустынной залы в чинном порядке стояли канделябры с белыми спермацетовыми свечами. Единственная роскошь, допущенная скупой хозяйкой, – это свечи. На них она не скупилась, и после каждого вечера в шандалы и канделябры вставлялись новые свечи, а старые отдавались прислуге. Комната самой госпожи Лавуазье отличалась еще большей суровостью. При входе на женскую половину трудно было догадаться, является ли эта строгая комната, отделенная от спальни громадной занавеской, свисающей с потолка, комнатой женщины, или кабинетом ученого. Множество книг в белых кожаных переплетах, английский словарь, раскрытый на письменном столе, хрустальная чернильница и громадные гусиные перья, песочницы с белоснежным сухим и тончайшим песком, книжка химика Кирвана – перевод самой госпожи Лавуазье, напечатанный в Париже, – круглое зеркало в серебряной раме, потускневшее от времени, и среди всех этих белых вещей единственным черным пятном была сама госпожа Польз-Лавуазье. Высокая, худая, с блестящими острыми черными глазами, в широком черном английском платье из тончайшей фландрской ткани, секрет изготовления которой тщетно старались купить английские фабриканты, не умевшие приготовить этого чудного сукна из той самой корнуэльской шерсти, которую скупали фландрские ткачи и прядильщики.

Нижний этаж наполовину принадлежал заводу, а в шестнадцати комнатах располагалась лаборатория господина Лавуазье. Это была странная кухня. Маленькие жаровни, огромные горны с мехами, таганы и сковороды, круто поднимающиеся дымоходы, плавильные печи,

большие полутемные залы сменялись светлой комнатой, в которой лучи солнечного света дробились поверхностями фарфора, хрусталя и стекла. На фарфоровых, деревянных, стеклянных и серебряных столах с деревянными штативами причудливо располагались держатели, пробирки, конические колбы, аллонжи, реторты, баллоны, агатовые ступки, фарфоровые тигли с королевского завода в Севре, кристаллизаторы, заказанные по рисункам Лавуазье венецианскому стеклянному заводу на острове Мурано, градуированные пипетки, мензурки, бюретки, кюветы – весь этот фантастический стеклянный мир, по воле ученого наступающий на скупую природу, ломающий ее скрытность, горел и искрился на солнце парижского вечера, переливаясь цветными огнями, радужной игрой солнечного луча, такого простого и белого, с радостью распадающегося на тысячу цветных переливов в лаборатории Антуана Лавуазье словно для того, чтобы наверху, там, где царствует мадам Польз, снова превратиться в строгий, белый и бесцветный, даже как будто ставший скупым, солнечный свет. За пределами этой стеклянной лаборатории шли лаборатории Лапласа, Монье, Сегена, Маккера, добровольных ассистентов и товарищей по работе академика Лавуазье. Там были комнаты с цветными стеклами, а за ними три большие кабинета, из которых последний был совершенно лишен доступа солнечного света. В нем Антуан Лавуазье провел в абсолютной темноте, никуда не выходя, сто один день, для того чтобы сделать Свои, как он говорил, «дневные» человеческие глаза способными воспринимать едва заметные, тончайшие напряжения простого светового луча. Это добровольное заключение в темницу, когда простое питание ученого также происходило в темноте, принесло ожидаемые результаты, – зрение академика стало чрезвычайно чутким, но он сильно подорвал свое здоровье. В первые дни, превратив свои глаза в тончайший инструмент оптического контроля, он при резких поворотах света испытывал мгновенные состояния, близкие к потере сознания. Усилием воли он заставлял себя вернуться к действительности из того полусонного состояния, в которое бросала его чрезвычайная раздражительность зрительных нервов.

В этот день приступ повторился и, несмотря ни на какие усилия воли, ученому не удалось закончить опыта. Приложив ладони к вискам, он откинулся на спинку жесткого деревянного стула. В этот момент в лабораторию вошел старик в ливрее с дворянскими гербами. Мадам Лавуазье любила знаки покупного дворянства. Сам ученый относился к этому подарку тестя более чем равнодушно. Четыре тысячи дворянских титулов с соответствующими должностями так называемого «дворянства мантии» были королевским товаром и продавались за очень высокую цену разбогатевшим представителям третьего сословия. Отец госпожи Лавуазье сделал свадебный подарок своему зятю.

Лавуазье в ту минуту, когда старик появился в лаборатории, даже не заметил его новой ливреи, поймав себя на чувстве радости по поводу возможности прекратить неудавшийся опыт и уйти. Мадам Польз-Лавуазье приглашала мужа обедать.

– Мадам недовольна, – сказал старик, – прислуга Лефосе опять повесила белье через весь двор Арсенала. Мадам приказала снять. Во дворе был крик.

Лавуазье не слушал. В зале его встретил в дверях маленький человек в светло-синем костюме, черных чулках и черных туфлях. Маленький, белый, чрезвычайно прихотливый парик с какими-то вольными волнистыми прядями на висках обрамлял спокойное и ясное лицо с голубыми глазами, производившими впечатление большой наблюдательности, но это выражение глаз было лишь признаком полной близорукости. Грустное выражение не сбежало с этого лица даже тогда, когда оно улыбнулось в ответ на приветствие Лавуазье.

– Как я рад, господин Сильвестр де Саси, что снова вижу вас. Когда приезжали англичане, мне хотелось показать вам их; я с удивлением узнал, что вы уехали неизвестно куда.

– Я живу *extra muros* [за стенами]. Слишком много волнений в стенах Парижа. Мысль работает плохо, когда тебе ежечасно напоминают, что ты ничтожная единица в скопище граждан. Я не лучше и не хуже других людей, но я смотрю на себя как на инструмент науки, а науку нужно беречь. Мне и моей семье хуже живется в деревне, но там тихо.

– По-прежнему шестнадцать часов напряженной работы над арабами, персами, друзьями, над рукописями и книгами Востока?

– Да, по-прежнему, – ответил Саси, – Я поселил у себя еврея, он научил меня своему старому языку; его огромные знания дали мне возможность разобрать самарийские тексты, я теперь знаю их не хуже Кенникота и Росси. Мы разобрали гениальные рукописи Юлия Цезаря, Скалигера, и должен сказать, что за три века, прошедших со дня его смерти, не так уж много двинулась наука вперед. Этот чудак, этот гений и двоеженец, всю жизнь просидевший в маленькой голландской комнате, закутанный в меховую одежду, окруженный помощью и заботами двух своих странных подруг, умел видеть далеко впереди себя. Я мало что могу прибавить к его выводам относительно языков Леванта.

Госпожа Лавуазье, пользуясь минутной остановкой разговора, спросила, разводит ли господин Сильвестр де Саси по-прежнему тюльпаны и как поживают его птицы. Переходя из зала в столовую по приглашению хозяйки, Саси говорил:

– Благодарю вас, сударыня, вместо тюльпанов я развожу огород, так как жить довольно трудно: крестьяне предпочитают везти овощи на парижские рынки: что касается птиц, то мой самый большой говорун, скворец, не выдержал переезда. Моя младшая сестра схоронила его в саду под деревом, но мне удалось выучить двум-трем фразам моего чижа.

Лавуазье поднял брови с выражением удивления. Саси также улыбнулся. Мадам Лавуазье снисходительно молчала, находя, что заниматься птицами серьезному ученому совершенно невозможно.

– Да, да, – сказал Саси, – язык – такой тонкий механизм и такое сложное превращение мысли в звук, что изучать его нужно всячески, а самое строение речи, воспроизводимое животными, открывает неожиданные тайны в природе звука.

Слуга доложил о приходе господина Бриссо. Лавуазье сделал несколько шагов навстречу. Бриссо поздоровался как-то растерянно и, занимая место за столом, заговорил сразу:

– Дурная встреча, дурная встреча, – сейчас встретил этого юриста Максимилиана Робеспьера.

– Почему это дурная встреча? – спросил Лавуазье.

– Вы не знаете этого человека, – ответил Бриссо. – Не нынче-завтра это будет самый опасный фанатик политики.

– Не думаю, – сказал Лавуазье, – прямо не думаю. Когда он кончал колледж, король был у них на торжествах. Робеспьер читал ему латинские стихи, сочиненные специально для этого случая. Стихи плохие, но короля он любит.

– Робеспьер никого не любит, господин Лавуазье, – ответил Бриссо. – Робеспьер любит кричать о своей бедности. Он нарочно переселился к Морису Дюпле только для того, чтобы друзья говорили о том, как бедный подмастерье приютил революционного депутата третьего сословия. Но ведь этот Дюпле ютился в бедной квартирке, чтобы скрыть свой огромный барыш. У Дюпле два дома в Париже, Дюпле – королевский мебельщик, Дюпле с Робеспьером – выгодный союз!

– Однако вы взволнованы! Что же вам сказал Робеспьер?

Бриссо улыбнулся.

– А ведь действительно, может быть, ничего. Может, действительно я напрасно себя волную. Я вышел от мадам Леклапэр в тот момент, когда полиция пришла произвести обыск в ее книжной лавке. Я только что купил новую английскую карту Антилий, узнав о ламетовских плантациях на Гаити. Я шел по улице, и перед самым Арсеналом был окликнут господином Робеспьером. Он насмешливо посмотрел на меня и сказал: «Бриссо, ты падаешь в яму и пролomiшь себе череп, так как, роаясь глазами в карте великой вселенной, ты загораживаешь себе дорогу по нашему маленькому революционному Парижу».

У Лавуазье задержались веки, он силился понять эту фразу, в которой был колоссальный, зловещий смысл и жуткая едкость. В это время лакей осторожно обносил с левой стороны блюдо и предложил своему хозяину крыло куропатки.

– Я, кажется, говорю неуместные вещи. Я перебил ваш разговор, господа, – вспыхнув, заметил Бриссо.

– Маркиз Ларошфуко! – громко произнес лакей.

– Какой разговор? – сказал, входя, тот, кого называли маркизом, и, скользя по воценому полу, новый посетитель плавно подошел к руке госпожи Лавуазье.

Поднося пястья почти около браслета к тонким губам Ларошфуко, мадам Лавуазье ответила:

– Наш славный ориенталист, брат графа де Саси, рассказывал, как он обучал чижа произносить итальянские фразы.

Ларошфуко поклонился в сторону Саси, занял предложенное хозяйкой место и сказал:

– Мадам должна извинить меня. Нынче ночью моим лошадям подрезали сухожилия. Тетка со мной в ссоре. Я не мог ехать в ее карете. Я поэтому опоздал, сударыня. Что касается обучения птиц, то самое лучшее обучить попугая говорить: «Да здравствует король!» Попугая немедленно сделают нотаблем!

– Может, его лучше выучить словам присяги Учредительному собранию? – спросил Лавуазье.

Бриссо нахмурился.

– Я отказался от присяги, – сказал Саси, – и не чувствую себя вправе обучать политике кого бы то ни было, даже птиц.

– Я присягнул Конституции, – сказал Лавуазье, – я считаю революцию великим делом.

– Я тоже, – сказал Саси. – Но у нас с ней разные дороги. Я не интересуюсь делами Манежа и манежными делами, как говорят парижане, называя сплетни.

Бриссо вспыхнул: словечко это стало нарицательным; парижане-аристократы «манежами» называли систему политических интриг и грязных происков, ходивших вокруг Конституанты.

– Ведь вы прошли на выборах от второго сословия? – спросил Бриссо, обращаясь к Лавуазье.

Лавуазье подумал и ответил не сразу:

– Да. Но я люблю свободу и стремлюсь принести пользу революции.

– Я люблю свободу науки, – задумчиво говорил Саси, – но, как сказал Овидий в «Посланиях с Понта»:

Carmina secessum scribentis et otia quaerunt:

Me mare, me venti, me fera jactat hiems.

Carminibus metus omnibus abest: ego perditus ensem Haesurum jugulo jam puto jamque meo.

Haes quibque, quod facio, judex mirabitur aequus.

Scriptaque cum venia qualiacumque leget.

Da mihi Maeoniden, et tot circumspice casus.

Ingenium tantis excidet omne malis.

[Творческий дух требует уединенной тишины и свободного времени для писателей, а я жертва моря, ветров и суровой зимы. Поэзии чужд всякий страх, но я, «потерянный», каждое мгновение жду меча, пронзающего мне горло. Окружи Гомера безумием всех этих случайностей, и среди бед угаснет его воображение.]

Все замолчали.

Хозяйка пристально смотрела в окно. Из экипажа, въехавшего во двор Арсенала, вышел человек в зеленой шубе с желтым мехом и темно-зеленой треуголке. То был Оже. Едва он

скрылся в подъезде и тронулась карета, как во двор въехала красивая легкая вискетка, из которой почти на ходу буквально выпрыгнул и пошел юношеской походкой знакомый, почтенный гость Парижа: господин Юнг.

В столовую он вошел вместе с Оже, предупреждая возглас лакея: «Сэр Артур Юнг с господином Винсентом Оже».

Мулат был одет с чрезвычайной тщательностью. Англичанин – в серебристо-сером костюме, изысканно, просто, важно. Бриссо и Оже поздоровались, как старые друзья. Юнг занял место рядом с Лавуазье. Разговор раздробился. Саси, перегнувшись через стол, воспользовался молчанием английского гостя и сказал тихо:

– Мне нужны ваши советы и ваши познания.

Лавуазье кивнул головой и сказал:

– За английским чаем будет легче говорить о делах.

При словах «английский чай» Юнг тонко и высокомерно улыбнулся, словно отвечая своей старой мысли о том, что «английские моды в Париже смешны так же, как всякое провинциальное подражание столице».

Закончив лабораторные работы, постепенно занимали места за столом ученики, ассистенты и друзья Лавуазье.

Скинув протравленные химикалиями камзолы и переодевшись в свои обычные одежды, один за другим входили: Гассенфрад, Гитон де Мерво, Фуркруа, друг и школьный товарищ Робеспьера, Сеген, лучший ученик Лавуазье. Революция сказывалась в том, что, вопреки строгости мадам Лавуазье, стало возможным опаздывать к обеду и нарушать чинный, строгий этикет, заведенный ею в доме.

Слышался голос Бриссо:

– Революция есть свобода для всех. Декларация возглашает всеобщее равенство. Долой «дворянство кожи».

Ларошфуко доказывал правильность своих опытов над серой. Фуркруа доказывал, что аристократ не может быть химиком. Юнг улыбался и, плохо говоря по-французски, ограничивался незначительным участием в разговоре. Сильвестр де Саси объяснял выражение «гемт эль мельхаа», приведенное Винсентом Оже и непонятное французам. Он рассказывал с красивой, увлекательной обстоятельностью ученого об африканском племени «бенилайль», в котором англичане, французы и турки наперебой покупают молодых девушек за плитки каменной соли, привозимой с Атласа. «Гемт эль мельхаа» – название живого товара, буквально значит – «цена куска соли».

Бриссо обратился к Оже:

– Быть может, вы здесь, на свободе, объясните мне, что значит постоянное слово, которое у вас звучит как лозунг, как условный знак, как то, чем приглашает или дает разрешение ваш Туссен?

Бледное лицо Оже покрылось синеватыми тенями, он ничего не ответил. Но неумолимый француз продолжал:

– Каждый раз, когда я у вас бывал, я слышал это слово «квисквейа».

Саси, держа кусочек рыбы на серебряной вилке, на секунду задумался и сказал:

– Насколько я помню, это слово эфиопиян. Если перевести его буквально, оно значит: «Матерь всех земель и стран»...

Оже грустно и тихо произнес:

– Этим именем мы зовем наш остров. Наши отцы и деды поселились на нем невольно Эта страна была нам мачехой, мы знаем ее историю. Некий Колумб назвал нашу Гаити, что значит «Страна гор», «Эспаньолой» – Малой Испанией. Она стала Малой Испанией в тысяча четыреста девяносто втором году. Прошло триста лет, сегодня мы зовем родною эту землю, впитавшую нашу кровь, превратившую в прах тела наших предков. Мы жили рабами, становимся

свободными, мы хотим стать гражданами Новой земли и назвать ее «Матерью всех земель». С этим мы приехали сюда через океан, но здесь сердца наши наполнились тревогой.

Грубый голос Фуркруа вдруг заставил его замолчать. Друг Робеспьера, он кричал:

– Что из этого, что Симонна Эврар вручила свою жизнь Марату, что она, разделяя его невзгоды, вместе с любовью отдает ему сбережения своего отца для издания «Друга народа»? Неужели из этого можно делать какие-нибудь выводы, порочащие Марата? Смотрите, скоро рассеется клевета, и станет стыдно тем, кто ее сеял. Клеветники пожнут кровавую жатву. Не трогайте «Друга народа»! Не всегда Национальное собрание будет преследовать Марата. Настанет час...

Но тут Артур Юнг, ослабившись волчьим оскалом зубов, вынул из кармана сложенный вчетверо номер «Друга народа», развернул и, с улыбкой подавая Фуркруа газету, сказал:

– Ваш Марат преступный клеветник.

Фуркруа прочел и побледнел. Тем не менее передал номер Лавуазье. Марат писал:

«Вот вам корифей шарлатанов, г-н Лавуазье, сын сутяги, химик-недоучка, ученик женеvского спекулянта, откупщик налогов, пороховой комиссар, чиновник учетной кассы, королевский секретарь, академик, величайший интриган нашего времени, молодчик, получающий 40.000 ливров дохода и коего права на признательность – это: 1) Париж в тюрьме без свободной циркуляции воздуха, за стенами, стоившими 33 миллиона французской бедноте, и 2) доставка пороха из Арсенала в Бастилию ночью с 12 на 13 июля. – Интригует, дьявольски пролезая на выборную должность по Парижу. Жаль, что он не на фонаре 6 августа. Избирателям не пришлось бы краснеть».

Лавуазье молча вернул газету и посмотрел мрачно на Юнга.

– Меня удивляет и омрачает, – сказал Юнг, – то обстоятельство, что злостный клеветник до сих пор не пойман.

– Вот герцог де Лианкур, – продолжал он, кивая в сторону маркиза Ларошфуко и называя его вторым, более значительным титулом, которого Ларошфуко чуждался. – Вот герцог де Лианкур знает положение! Его, даже его зацепил Марат за выступление против черных рабов. Впрочем, ваша светлость, конечно, не читает таких газет. Вы, конечно, читаете только сатирические «Деяния апостолов», газету Антуана Ривароля.

По окончании обеда разговор продолжался в белой зале. Общество разбилось на группы за тремя столиками. Играли в карты. Но фараон проходил вяло, так как хозяин все время хранил печать озабоченности. Фуркруа грубовато и часто повторял слова Марата, хотя всем это становилось неприятно. Бриссо заметал, бросая слова в воздух: «Раньше Марат был моим другом и писал мне часто. Теперь я боюсь его».

Бросая карту на стол, Лавуазье произнес, обращаясь к Фуркруа:

– Марат высокомерен и зол. Было время, его приглашали в академии. Он дерзко ответил герцогу, что желает остаться *свободным* исследователем. Он прислал, однако, свой трактат об огне, который я отправил назад, как вздорный, ибо он говорит о нарастании света во вселенной, а я доказал неизменность в мире количества вещества. Я назвал это законом сохранения вещества.

– Однако ты забываешь, – сказал Фуркруа, – что некий немецкий ученый оптик, господин Иоганн фон Гете, считает трактат доктора Марата о свете самым замечательным открытием, завершающим столетие.

– Не верю немцам, – сказал Лавуазье.

– Хорошо делаете, – подтвердил Юнг с другого стола.

– Нельзя всем выстригать тонзуру, – ответил Фуркруа. – Есть разные немцы. Есть герцог Брауншвейгский, есть прусский и австрийский двор, а есть некий немец, господин Жиль, которого мы вчера торжественно провозгласили в Ассамблее почетным гражданином Франции. Он написал пьесу «Робер, вождь разбойников» [здесь допущено намеренное хронологиче-

ское смещение: Шиллер получил звание «гражданина Французской республики» от Конвента и, напуганный казнью Людовика XVI, отказался от этого гражданства – Прим. автора].

– Поздравляю с большой ошибкой, – сказал Юнг, – «Робер, вождь разбойников» – это пьеса, вышедшая почти десять лет тому назад из-под пера простого немецкого фельдшера Фридриха Шиллера. Вы ошибаетесь, давая ему имя Жилия.

Фуркруа не унимался.

– Потом отметить, Лавуазье, во-первых: Жан Поль Марат никогда не был крупье Генеральной фермы. Он не мог затратить миллиона восьмисот тысяч на оборудование лаборатории. Он не мог пользоваться ничем, кроме флаконов парфюмера и черепков фарфорщика, для производства опытов. В те сладкие месяцы, что ты проводишь в имении Фрешин, за которое заплатил шестьсот тысяч ливров, доктор Марат должен прятаться в конюшнях и голубятнях, скрываясь от полиции. Ты споришь с Тюрго, доказывая, что не в сельском хозяйстве дело бюджета Франции, но ты сам разводишь на полях клевер и эспарсет, сам ты выписываешь из Англии племенных свиней. Ты с помощью господина Леду обводишь Париж стенами для собирания налогов для борьбы с крестьянином, привозившим бесплатно овощи в Париж, для борьбы с ремесленником, продающим кожаную обувь extra muros. Марат требует отмены откупов.

Лавуазье покачал головой:

– Я не подозревал в тебе маратиста, Фуркруа! Но я знаю в тебе ученого. Тебе известно, что сто одиннадцать дней опыта с перегонкой и взвешиванием воды стоили мне пятьдесят тысяч ливров. Ты знаешь, во что обходится изготовление тончайших инструментов? Кто дал мне их без откупов?

– Тогда не осуждай Марата.

Лавуазье пожал плечами. После часового разговора гостей слуги принесли чай. Лавуазье пригласил Сильвестра де Саси в угол комнаты, отгороженный белыми ширмами. Там, поставив чашки с душистым напитком на белый мраморный стол, Саси и Лавуазье беседовали о том, как лучше переводить химические термины и древние арабские названия драгоценных веществ, упоминаемые в сказках «Тысячи и одной ночи». Саси рассказывал французскому ученому о Северо-Западной Африке, стране, до сих пор имеющей самые странные сказания и поставляющей на весь Восток колдунов, ядомешателей, так называемых «опасных магов» и прочих знахарей, наводняющих тропические страны.

Редкая память Саси помогала ему обходиться без записей. Не имея перед собой манускрипта, он наизусть переводил для Лавуазье целые страницы арабских текстов о путешествиях Синдбада, где говорится об искусстве приготовления серебра и золота, о ядах и противоядиях, о семи планетах и семи сферах, о семи днях и семи климатах, о семи цветах шелка, о семи цветах радуги, о семи цветах луча, отраженного и преломленного алмазом и удвоенного турмалином, о семи возрастах мира, о свинцовых рудах восточно-индийского острова Калаха, о «желтом мышьяке», посредством которого арабские врачи удаляли волосы, о порошке «кохо», который, по мнению Саси, был простой сурьмой, о герое сказки Апи-Зибак, имя которого обозначает тяжелый, жидкий, чрезвычайно подвижный белый блестящий металл... «Очевидно, ртуть», – говорил Саси.

После беседы Лавуазье с востоковедом Саси Ларошфуко присоединился к разговору. Облокотившись на стол и положив подбородок на большой палец, герцог Лианкур изредка вставлял свои замечания, из которых явствовало, что хоть он и занимается в лаборатории Лавуазье, но ему одинаково чужда и старая и новая химия. Он был скептичен. Смеясь, он говорил, что старинный итальянский писатель в сочинении «Божественная комедия» всех алхимиков помещает в самых глубоких подземельях ада.

Когда говорил Ларошфуко, напряженный слух Лавуазье уловил тихий голос Юнга в другом конце залы. Он повторял, ломая слова: «Le mur, murant Paris, fait Paris murmurant» [*игра слов, буквальный перевод: «Стена, огораживающая Париж, вызывает ропот Парижа»*].

Лавуазье задумался. Он очень доверял английскому гостю; он любил в нем спокойствие и размах большого ученого-экономиста, ясность его практического ума, он пользовался его советами в сельском хозяйстве. Но повторение острот врагов Лавуазье в собственном доме Лавуазье нарушало представление хозяина об учтивости английского гостя.

«Да и не слишком ли много знает господин Юнг? – думал Лавуазье. – Не слишком ли он долго живет во Франции?»

Лавуазье привстал. Поверх полуширмы он видел, как Юнг, держа золотую табакерку, стоя разговаривал с Фуркруа.

Ларошфуко говорил тем временем:

– Я убедился, что почти все восточные лекарства ядовиты, за исключением трав, вызывающих испарину. Я верю только в пиявок и в кровопускание.

Лавуазье вздрогнул и быстро занял прежнее место.

Саси говорил:

– Я никогда ничем не болел. Я не знаю усталости, я люблю ходить пешком, и сейчас, чтобы вовремя попасть к себе в деревню за парижскими стенами, я отправлюсь пешком, не дожидаясь наступления ночи. Прощайте, дорогой господин Лавуазье. Благодарю вас за совет и указание.

По-английски, не прощаясь, Саси ушел.

За ширмой, превращавшей залу в маленькую гостиную, появился Юнг.

«Трудно сказать, кто из нас себя чувствует больше хозяином в доме», – подумал Лавуазье, глядя на улыбающееся лицо английского гостя.

– Я восхищен вашим гением, – говорил Юнг. – Такой упрощенный способ добывания селитры сразу учетверил силу и военные качества Франции.

Лавуазье молчал, выражая благодарность за комплимент только кивком головы.

Фуркруа говорил с мулатом:

– Школа французских химиков признает тридцать три элементарных вещества, сочетание и распад которых образуют все сложные тела великого мира, но само вещество не уничтожается и не возникает вновь.

– Вы слышите, – сказал Лавуазье, – то открытие, которым я один могу гордиться, приписывают *школе французских химиков*. Что же будут говорить после моей смерти, если я при жизни слышу это и даже в собственном доме?

– Будем надеяться, что вы еще много лет отдадите вашей науке, – сказал Юнг и, вскинув глаза на Лавуазье, добавил: – Если вовремя переедете в Англию.

Лавуазье всплеснул руками:

– Переехать, зачем? Да разве это осуществимо? Разве можно перевезти шестнадцать лабораторий, пороховые склады, французские интересы в Лондон?

– За исключением французских интересов мы все остальное можем дать вам в Лондоне.

Юнг оживился и заговорил тоном убеждения:

– Вы, очевидно, не предугадываете всех ужасов вашей революции. Вы, депутат, прошедший от дворянства, должны понять, что дворянство кончилось.

– Я не дворянин, – сказал Лавуазье.

– Вы депутат второго сословия, и этим все сказано. Вам нужно уезжать как можно скорее. Нам, смотрящим со стороны, многое виднее. Нам многие предметы говорят больше, чем люди. Лорды Англии давно пошли иным путем. Ваше дворянство лишено жизнеспособности наших лордов.

– Не забудьте, – возразил Лавуазье, – ваш парламент обошелся Англии тоже не в малое число голов. Вспомните, что среди них упала и одна королевская голова.

Юнг улыбнулся:

– Вы счастливы, если можете ручаться за жизнь короля Франции. Перед тем как говорить с вами, я много думал; я изъездил всю вашу страну, я видел лионские шелковые фабрики, рудники Лотарингии, виноградники Дофинэ. Я видел богатые епископии и дороги Франции, где по крайней мере двести или триста тысяч нищих бродят по дорогам, людей голодных и очень страшных. Я путешествовал, знакомясь с деревенским хозяйством ваших сеньоров, всюду. Леса вашей Бретани напоминают мне рассказы нашего Флетчера о России. Там такая же глушь и дичь, и только тридцать тысяч борзых собак, зачастую рвущих на куски деревенских ребятишек в дни дворянских охот, оглашают своим лаем пустыни и ланды. Ваши феодальные дворяне ничем не отличаются от вилланов, ваши крестьяне спят на земляном полу, не меняя вороха прошлогодних листьев, служащих им постелью. Я видел на севере Бретани замок Комбур, где господин Шатобриан и его десять членов семьи живут в невероятной грязи, в заплевываемой замке над ржавым прудом. Нет процветания страны. Вы знаете, что сейчас в Париже есть русские? Эти дворяне из страны медведей пламенно приветствуют вашу революцию, но боятся плетками своих крепостных любовниц. Ваши феодалы недалеко ушли от этих титулованных русских мужиков. В России был неграмотный царь Алексей, когда в Англии сэр Даниэль Дефо напечатал «Робинзона Крузо», нынешнее любимое чтение в Париже. Когда наш актер Шекспир ставил в «Глобусе» свои знаменитые трагедии, которых публика Франции до сих пор еще не знает, дворяне Франции были еще совсем неграмотны. Судите сами, если мы сумели так прославить простого актера, то каким же почетом мы окружим величайшего химика Франции!

– Я не поеду, сударь, я не поеду, дорогой сэр! Даже если завтра я взлечу на воздух вместе с пороховым складом, – сказал Лавуазье, переходя на английский язык и приглашая к тому же английского гостя.

Лавуазье в своей наивности думал, что горячность Юнга объясняется незнанием французского языка. Юнг немедленно разубедил его в этом.

Мадам Лавуазье почувствовала по некоторым ноткам разговора, что нужна ее помощь и, быстро приблизившись к Юнгу, спросила, не хочет ли он еще чаю. Юнг встал, поблагодарил, отказался и стал собираться, торжественно прощаясь со всеми, как бы подчеркивая, что если английская манера уходить без прощания уместна в Лондоне, то он считает ее ненужной в Париже.

Проводив чопорного английского гостя почти до самой вискеты, Лавуазье снова появился в зале. Его ждал у двери Оже.

– Я хочу, чтоб господин Лавуазье подарил меня счастьем своей беседы, – сказал он, ломая слова.

– Прошу вас, – сказал Лавуазье, приглашая мулата в маленькую гостиную.

Оже заговорил не сразу. Лавуазье вдруг испугался. Он понял, что мулат приехал не даром, что в нем, в Лавуазье, нуждаются не как в случайном представителе «Общества друзей чернокожих».

– Господину Лавуазье известно, – начал Оже, словно выдавливая из себя слова, – что мы живем в доме Шельшера, нашего большого друга, который немало сделал добра для цветных людей.

Лавуазье кивнул головой. Оже с расстановкой заговорил снова:

– Вчера сестру господина Шельшера погребли на кладбище. Это была чудная девушка, наш провожатый и хранитель в этом страшном Париже. Она ухаживала за больным Туссеном. Вчера мы узнали, что она умерла не просто. К Туссену неизвестное лицо прислало аббата, желавшего приобщить Туссена как умирающего. Туссен отказался принять аббата. После его ухода сестра Шельшера обедала с нами и выпила глоток воды из чашки, стоявшей на столе больного. Через час она упала с лестницы и не встала. Ее мертвой, с посиневшими веками и скрюченными руками, принесли в покои брата. Я вылил в этот флакон остатки воды: узнайте, что это такое?

Оже осторожно передал химику флакон с этикеткой королевского парикмахера Субирана. Лавуазье поставил флакон перед собой на белый стол и, едва сдерживая негодование, сказал:

– Я думаю, что один из нас сошел с ума. Мало ли от чего могут умереть молодые девушки. Не для того ли вы приехали с вашего острова, чтобы клеветать на парижских аббатов, приходящих к людям с самыми чистыми намерениями?

Оже встал и, поклонившись, направился к двери. Стекланный флакон с совершенно прозрачной жидкостью стоял на мраморном столике. Лавуазье отвинтил фигурную пробку и понюхал жидкость. Она была без запаха.

– Этот мулат сумасшедший, – тихо прошептал Лавуазье.

Поздно ночью, когда мадам Лавуазье улеглась, она, как счетовод, подытожила все впечатления дня, начиная от перебранки с госпожой Лефоше по поводу незаконно развешанного белья и кончая спорами с Ларошфуко о пропорциях селитры в новом порохе. Мадам спокойно засыпала в белом чепце на белоснежной постели.

Осторожно и мягко постучал в дверь Антуан Лавуазье. Эти посещения были чрезвычайно редки. Мадам Лавуазье-зажгла свечи, и по нахмуренному лицу и по костюму господина Лавуазье она убедилась, что он еще не отдыхал. Антуан Лавуазье заходил по комнате большими шагами, от которых воздух заколыхался в комнате. Пламя свечей ответило на эти колыхания неверными колебаниями, и огромная тень химика, с длинной шеей, горбатым носом и буклями, размахивая руками, забегала по стенам, ломаясь в углах, вырастая до карниза потолка, прыгая по мебели, перебегая по письменному столу с неубранными бумагами.

«Опять бессонница, – подумала госпожа Лавуазье. – Прошлогодний взрыв эссонского пороха с ожогами и с вылетом Антуана в окно не прошел для него бесследно».

Трещали свечи. Комната казалась желтой. Тоска была в душе утомленного ученого. И вовсе не пороховой взрыв был причиной этой бессонницы.

– Послушай, Литтль, – сказал Лавуазье, называя жену всегда одним и тем же английским словом, – я хочу выйти из откупа, я хочу расстаться с Генеральной фермой. Ее дела меня мучат уже давно. Я не чувствую себя ни в чем виновным. Наоборот, сознание успеха науки искупает для меня многие неприятности жестокой работы генерального фермера. Если еще осуществить два научных замысла, то у меня не останется денег. Они все идут на науку. Разве я не знаю, кто мои враги? Разве контрабандист Бардэ, стрелявший в меня во время путешествия с Греттаром, не оказался детоубийцей и негодяем? А ведь доказано, что подметные письма магистратам написаны его рукою, ведь доказано, что ни я, ни Лефоше не дали ни одной крупинки пороху в Бастилию. Лефоше застрелился. Я был в тюрьме. Разве я не знаю, что ростовщик Марсо из Пьемонтга клеймит меня теперь, ставши революционером только потому, что сидел в тюрьме по моему требованию, посаженный именно за то, что он ввел в своем городе позорный «налог с раздвоенных копыт», собирая деньги, как три века тому назад, «с евреев и свиней».

Мадам Лавуазье, приподнявшись на локте, следила за мужем глазами. Она зевнула, закрывая рот рукою, устало опустила веки и резко ответила:

– Антуан, этого не будет! Ты не бросишь откупов. Сегодня утром я читала в первый раз твой трактат «О дыхании». Почему ты раньше ничего не говорил мне об этом?

– Литтль, к чему тебе сейчас трактат «О дыхании»? – с удивлением остановился перед ней Лавуазье.

– Ты пишешь там, что мускульный труд рабочего люда вызывает усиленное дыхание. Ты рассматриваешь дыхание как горение, сжигающее человека, если не добавляется в организм топлива правильным питанием. Ты требуешь на основании этого добавочных рационов, особых, для кормления парижской бедноты. Ты грозишь магистратам, если не последуют твоему совету. Ты перечисляешь все, что едят и сколько платят за еду парижские ремесленники, но в твоём трактате ты забываешь, что учащенное дыхание на свежем воздухе дает человеку хоро-

ший сон. Я давно замечаю, что ты не спишь. Теперь ты хочешь, чтоб я не спала. Выкинь из головы размышления об откупках и ложись спать, а завтра начни регулярные прогулки.

Следя за потоком ее слов, Лавуазье улыбался все больше и больше. Засмеявшись тихим, беззвучным смехом, он поцеловал руку жены, щипцами погасил свечи и тихо вышел из комнаты, уже в тысячный раз убеждаясь, что жена его не понимает, и подчиняясь ей.

В маленькой ночной лаборатории, где производились контрольные опыты в уменьшенном размере, где иногда среди ночи, когда напряженный мозг во сне подсказывал удачное решение задачи, не решенной днем, внезапно пробуждаясь, ученый мог сразу «проверить сон», – на стеклянной доске Лавуазье увидел флакон, оставленный мулатом. Переодевшись, ученый зажег лампочку, налил в пробирку несколько капель прозрачной жидкости, принесенной Оже, взвесил на тоненьких весах, дважды проверил все и поднес пробирку к огню.

– Этот мулат сумасшедший, – повторил Лавуазье, – есть много страшных вещей в жизни, и этот страшный мир существует рядом с нами, но... этот мулат сумасшедший» Он без... Надо мгновенно закрыть лампочку.

Вода выкипала. Тончайший белый налет покрывал стенки пробирки. Серебряным шпателем Лавуазье соскоблил этот налет и приступил к анализу.

Только под утро, когда красная полоса на востоке возвестила зарю, Лавуазье записал в тетрадь анализ, раскрывающий качество белого порошка. Он давал то же самое, что прошлогодний сегеновский анализ пережога мерки горького миндаля. Это была синильная кислота. Утром, по распоряжению Лавуазье, Матье, старый слуга при лаборатории, принес котенка из-под крыши Арсенала. Лавуазье вылил в фарфоровую кювету жидкость, принесенную мулатом, и окунул в нее мордочку котенка. Котенок чихнул, облизнулся и, нелепо бросивши мордочку об пол, судорожно дернул ногами. Смерть наступила почти мгновенно.

3. Дневные видения

Сильвестр де Саси шел по садам Пале-Рояля, раздумывая о вечере, проведенном у великого химика. Герцог Лианкур, предложивший в Национальном собрании освободить всех крепостных, рабов, находящихся во французских колониях, показался ему человеком легкомысленным и мало добросовестным.

«Эти странные люди торгуют чужими вещами, – думал он, – они охотно уступают то, что им не принадлежит, думая таким образом спасти остатки своего имущества. Еще недавно духовенство уступало право охоты, которым само не пользовалось, а дворянство уступает церковные десятины, которые также не находятся в его распоряжении».

В это время девушка толкнула его в локоть. Был поздний вечер, когда аллеи Пале-Рояля наполняются женщинами, ищущими легкого заработка. Саси вскинул глаза: перед ним стояла голубоглазая, очень молодая женщина усмехаясь только верхней губой, вылитая мадам Дюбари, как ее изображали современные художники салонов. Она чем-то напоминала ученому впечатления совсем молодых лет: такая же легкая и веселая улыбка голубыми глазами была у его невесты.

Антуанетта де Кардон была другом юности и первой любовью де Саси. Когда судьба выбросила его из Парижа и после полуторагодичных скитаний он снова встретил Антуанетту, она была по-прежнему приветлива и мила. Свадьба ожидалась через два-три месяца, молодой Саси приходил по вечерам в загородный дом Сен-Дени, Там на закате солнца они вдвоем выезжали в легкой вискетке по западной дороге, усаженной липами и каштановыми деревьями.

Однажды Саси пришел часом раньше. Уже издали он увидел: маленькая угловая калитка в садовой стене, выходящая к оврагу на лесной опушке, была открыта. Антуанетта просталась с молодым человеком. Саси не мог догадаться, кто это. Быстро обвив его шею руками и поцеловав, Антуанетта со стуком захлопнула калитку, и когда Саси выходил на веранду и через дом прошел в сад, Антуанетта уже поднималась на ступеньки со стороны сада. Она встретила его с видом такой же беспечности, как и всегда, она, казалось, обрадовалась его раннему приходу; как всегда, встречая милое и привычное впечатление, она радовалась его повторению. Саси смотрел на это безоблачное и ясное лицо, на эту улыбку, доверчивую и милую; он сам вдруг почувствовал полную легкость и под впечатлением этой доверчивости спросил свою невесту:

– Анита, с кем это вы простались в саду?

Она ответила неожиданно просто и легко:

– Это мой любовник. Я привыкла к нему за год вашего отсутствия.

Саси молча прошел в гостиную. В обычный срок была подана вискетка; в обычный час жених и невеста выехали на прогулку, вдогонку уходящему солнцу, как, смеясь говорил Саси. Ветер дышал прохладой; красные маки по бокам дороги качались под тихим дуновением.

Вернулись вечером, простились при свете кенкетов с таким видом, как будто прощаются до завтра. Но с того дня Саси не возвращался к Антуанетте. Другие люди прошли перед глазами. Годы залегли между этой первой иголкой, вошедшей в сердце и сломавшейся там, и теми, другими уколами, которыми щедро встречала его жизнь.

Сейчас эта встреча, эта улыбка беспечности у продажной женщины и лицо, в сумерках аллеи Пале-Рояля казавшееся почти прекрасным, – это был новый укол.

«Только потому, – подумал Саси, – что совсем не случайно природа устроила такую поимку глаз, такую западню для чувств и впечатлений, которые невольно заставляют людей останавливаться с волнением. Как все эти девушки, наполняющие вот уже месяц аллеи Пале-Рояля, стремятся подражать вековечным типам женской красоты! Одни стремятся пленить и заработать, перенимая сияющий облик рафаэлевской Мадонны; другие – присаживая себе на лицо признаки ослепительной и сверкающей страсти какой-нибудь египтянки Клеопатры; тре-

ты сурмят и вычерчивают брови, как женщины Востока, подражая Клотильдам и Армидам освобожденного Иерусалима. Все это путеводные звезды и маяки, обаятельные и сверкающие в веках. Тип женщин дробится, как в кривых зеркалах или как в раздробленной поверхности взволнованного озера, и превращается в тысячи осколков когда-то большого явления».

Прошла одна, прошла другая, прошла третья, поводя плечами, бросая вызывающие взгляды. Саси становился грустным. Неуместное впечатление оказалось сильнее его. Красные маки, склоняющие головы ему навстречу на закате солнца сен-дениской дороги, – какая все это далекая и ненужная тоска, не свойственная ученому! Это всего лишь ненужная боль, которую человек не должен в себя пускать.

Саси не замечал девушек и скоро вышел из Пале-Рояля, оставив скамейки, переполненные приказчиками, писцами, адвокатскими помощниками, пришедшими на этот рынок любви для покупки дешевых продажных ласк.

Таяли парижские улицы, и первоначальные размышления Саси о событиях революционного Парижа, о плене короля и испуге дворянства, о восстании черни сменились спокойной и ровной работой научной мысли. Философ Монтескье указывает на огромное влияние естественных условий на организацию человеческого быта. Саси начал с этой мысли о том, что революция является политическим разливом, затопляющим берега истории, что настает час, когда из снесенных домов уцелевшие обязательно попадут на чужой берег, а на месте схлынувшей бушующей воды возникнет новая, чуждая прежней, жизнь. Саси думал о том влиянии, которое окажет революция на всех, кого судьба выбросит за пределы Франции. Отсюда он перешел к своим любимым мыслям. Изучая историю Аравии, он был уверен, что основным моментом, определяющим историю всего Аравийского полуострова, был разлив Иремской плотины так называемой Счастливой Аравии. Разлив этот причинил великое множество несчастий и десятки тысяч родовитых семей выбросил из Мекки на берега Персидского залива, в Сирию и Месопотамию.

«Вот исходный пункт, – думал Саси. – Эта эмиграция дала во втором столетии нашей эры таблицы новой арабской генеалогии, новых патриархов. С этого времени начинается новая письменность, новые люди, и тут уже еще более обширная мысль. Платон извещает о том, что странная молва из столетия в столетие передает одно и то же, что земли Африки за пределами Геркулесовых столбов сообщались с дальними материками, что древнейшие люди посылали караваны туда, где теперь плещется океан; там была суша, там были цветущие города, там была богатая Атлантида. Уже во времена сказочного Орфея аргонавты плавали за пределы Геркулесовых столбов и нашли там новую сушу и новую землю. Они видели высоких, стройных и красивых людей, это были остатки древней Атлантиды. Так меняется лицо земли, так исчезает старый облик вселенной. Огромные земли уходят под воду, и потоки крови наполняют десятилетия человеческой истории».

Как бы в ответ на это раздались выстрелы. Из переулка бежал молодой человек со сбитым париком, помахивая шпагой. Саси быстро отошел от опасного места.

Перестрелка шла по всему переулку, когда ученый подошел к массивным старинным зданиям аббатства Сен-Жермен де-Пре. Выстрелы раздавались все ближе и ближе. Над башней аббатства в голубом воздухе плескались белые голуби, садясь на кресты и розетки, а внизу слышались крики и раздавались пистолетные выстрелы. Саси поднял дверной молоток, оконце тяжелой калитки открылось, и небритый седой монах-привратник выглянул на улицу.

– Ах, это вы, господин Сильвестр де Саси, – произнес он, придавая своему лицу некоторое подобие улыбки.

– Брат Фома, проводите меня к отцу Томасьеру.

– Идет служба, – сказал монах, – согласитесь ли вы ждать?

И, вызвав мальчика-певчего, кивнул ученому. Саси медленно пошел по знакомым переходам, крытым галереям и крытым коридорам старинного аббатства.

В Увеке Бенедикт Нурсийский основал орден. Бенедиктинцы основали это парижское аббатство. В нем работала конгрегация святого Мавра, бывшая интернациональным архивным учреждением старинной Европы. Во исполнение устава своего основателя бенедиктинские отцы собирали отовсюду старинные грамоты и важные дипломатические документы, служившие для истории Франции. Их латинская переписка с отдаленнейшими местами в разных концах земли поражала своей суровой и строгой скромностью, ласковым тоном, а иногда грубыми и молниеносными словами, бежавшими из-под пера разъяренного монаха, нашедшего искажения старинного текста в какой-нибудь грамоте, полученной с юга Испании. Приходилось заново посылать пешком или на осле какого-нибудь доброго отца, который, совершив свое многомесячное путешествие, привозил выверенные копии греческой или латинской грамоты, служившей очередной темой рассуждению среди ученых историков и богословов в обширных рефекториях Сен-Жерменского аббатства.

Шафы из желтого ясеня, дубовые скамьи и пюпитры, на которых в порядке лежали пергаментные фолианты, окованные железом по углам с чеканенными жуками на переплете из пожелтевшей испанской свиной кожи. Драгоценнейшие фолианты, прикованные цепями к пюпитрам, изукрашены золотом, киноварью и ляпис-лазурью, это плоды бессонных ночей и многих лет труда одиноких монахов, замкнувшихся от бурного мира, нечестивых людей и греховной королевской Франции в мире серафических грез и золотых легенд, когда под звон усталых и ласковых колоколов, при свете вечернего солнца, сквозь зеленые листья платанов, перед узкими стрельчатыми окнами в решетках рука монаха тщательно вырисовывала железными чернилами буквы на размеченных строках пергамента или кисть отрекшегося от мира художника налагала краски одна другой чудесней на заглавные листы старинной хроники, изображая действующих лиц в разных позах и положениях на одной и той же картине, заменяющих действия и слова давно ушедших людей старинной Франции. Послушник отца Томасьера, вернее, как говорят сами старые монахи, молодой оруженосец духовного рыцаря, подошел к Сильвестру де Саси и приветствовал его согласно монастырскому уставу.

– Может быть, до прихода отца Томасьера я могу служить вам? Пусть ваша ученая речь направит мои смиренные стопы.

Саси попросил письма самаритян к Скалигеру и две малоизвестные арабские рукописи. На большой желтый полированный стол послушник положил просимое и почтительно предложил кресло великому ученому. Саси, вооружившись увеличительным стеклом, погрузился в глубокое кресло перед кипарисовым пюпитром, а болтливый послушник, обрадовавшись возможности на законном основании нарушить монастырские правила, ибо ради гостей прощались многие разговоры, удивлял Сильвестра де Саси беседой совсем не на монастырскую тему. Оказывается, вопреки существовавшим правилам, он за последние дни трижды выходил из ворот монастыря и с тревогой наблюдал новые события Парижа, о которых и понятия не имел до сих пор отец Томасьер. Послушник говорил ученому:

– Ни монсеньору, ни отцу Томасьеру невозможно говорить о тех ужасах, которые происходят в Париже, для них Париж остается таким, каким он был сто лет тому назад. Они по-прежнему посылают братьев в калабрийские монастыри и в Сент-Эммеран, так как уехавшие в прошлом году двое до сих пор не вернулись, а вы знаете, как трудно теперь нашему брату путешествовать и не быть перехваченным в дороге. Я вчера слышал, что граф д'Артуа и принцы, вопреки воле короля, собирают у границы войска для водворения порядка во Франции. Братьям монастыря в десятой доле неизвестны невзгоды, происходящие в Париже. Они не выходят за пределы обители, а мне, выполняющему послушание святого Бенедикта, мало ли где придется бывать как мирянину. Простолюдины и ремесленники говорят о свободе, о равенстве и братстве. Что бы сказал про это благочестивый аббат Никез, что бы сказал преосвященный Жан Мабильон! Ведь это все слава и гордость нашего монастыря, они оба не были дворянами, это крестьянские дети, воспитанные на монастырском дворе в глухой и забытой чертозе Дофинэ,

а потом прославившие имя нашего святого на весь мир своими учеными трудами. Свобода, о которой шумят на парижских площадях и в здании ипподрома, эта свобода давным-давно осуществлялась, ибо воля господня делает всякого человека свободным в выборе своего пути, и только нечестивые кальвинисты говорят, что божественное правосудие одних еще до рождения определило к добродетели, других – на путь преступлений. А что такое равенство, когда бенедиктинская сутана прикрывает и знатных и незнатных, богачей и бедняков ризами общей бедности? Пресвятой Бенедикт Нурсийский обучал нас накоплению единых богатств – сокровищ науки, смирения и добродетели. Что такое братство, как не лучшее братство нашей обители? Ничего нового не услышал я от ваших богопротивных ораторов, да и что нового могут сообщить они тем, кого осенила благодать божественного милосердия?

Сильвестр де Саси перелистывал рукопись, изредка поглядывая на болтливого монаха. Тот говорил без умолку, дождавшись, наконец, терпеливого собеседника, который слушал не перебивая, с вежливым вниманием.

– Вот сегодня на улице Гомартен нашли старика. Он лежал мертвый около самой изгороди дома Казальса, его подняли. Он одет был в верхнее платье мещанина, при нем не было ничего, что указывало бы на его происхождение, на его имя. Он показался мне умершим от полного истощения и голода, словно раздавленным непосильной ношей. У него в желтых руках, похожих на когтистую лапу хищной птицы, застыли ручки кожаного мешка с заклепанным замком. Двое с трудом разогнули эти костлявые пальцы и вынули из рук сумку. Агент магистратов не смог ее открыть и вспорол кожу. Тогда понял, почему сумка так была тяжела, – в ней был слиток золота величиной в голову ребенка. Скажите, на что золото этому покойнику? И уверяю вас, господин Сильвестр де Саси, когда волнуется парижская чернь, она волнуется ради ничтожных житейских благ, а тут у нее на мостовой помирает от истощения человек, несущий несметные богатства.

– Однако вы рассуждаете, как светский философ, – возразил Сильвестр де Саси. – Я даже не знаю, кто является настоящим вашим наставником: господин Жан Жак Руссо или святой Бенедикт Нурсийский.

Монах осенил себя крестным знамением:

– Что вы, что вы, господин Сильвестр де Саси, я не читал никогда никаких книг, кроме священного писания и устава ордена святого Бенедикта, но жизнь учит, а глаза наблюдают. Ведь двадцать девятого апреля, если не ошибаюсь, был случай в предместье Сент-Антуан, на фабрике господина Ревельона. Брат мой служит у него счетоводом, и он клялся, что сказал мне сущую правду. Господин Ревельон был простым печатником набоек, и только трудолюбие и усердие с божьей помощью превратили его в собственника богатой мануфактуры, кормившей четыреста рабочих. Жадность человека не имеет предела, эти люди хотели повышения заработной платы, а господин Ревельон на собрании перед выборами в Национальную ассамблею заявил, что рабочим достаточно пятнадцати су дневного заработка. Вот отсюда гнев, алчность породили бунт, гордыня породила непослушание законной власти, бунт и непослушание породили кровь. Два дня толпа громила дом Ревельона. Гвардейцы прикладами и штыками проложили дорогу сквозь толпу, и, несмотря на то, что двести человек пали под стенами этого дома, толпа алчного люда стремилась к дому богатого Ревельона. Только пушки, заряженные картечью, да фитили, зажженные канонирами, напугали бунтарей, они разбежались. Разве угодно богу такое несмирение?

– Согласитесь, однако, дорогой брат, – возразил Саси с улыбкой, – что на пятнадцать су можно только медленно умирать, а не жить, да еще с семьей. Уж если вы завели этот разговор, я должен вам сообщить, что крестьяне в окрестностях Парижа настолько повысили цену на самые простые овощи, что я сам вынужден обрабатывать свой огород. Любой крестьянин скорее повезет в Париж продукты своего хозяйства, зная, что парижанам сейчас приходится туго,

чем продаст их на месте. Я вижу, что вихри вокруг Парижа залетают к вам сквозь слуховые окна, кровлю и через башенные ходы вашего аббатства. Вы в смятении, дорогой брат.

Монах покачал головой, но в это время отец Томасьер веселым, спокойным и уверенным шагом вошел в комнату, зажимая шаплетки [чётки] левой рукой, и приветствовал ученого. После первых приветствий Саси беседовал с отцом Томасьером на тему о последних работах конгрегации. Старик, голубоглазый, седоволосый, сухощавый и смеющийся, достал с полки белый пергаментный том и с восхищенным видом стал перелистывать, показывая ученому страницы, творения святого Бернарда, обильно окруженные золотом, киноварью, ляпис-лазурью, изумрудной краской тончайших миниатюр.

– Вот рукопись, недавно привезенная нам в подарок из Грейсфельда, – говорил отец Томасьер. – Мы готовим ее издание, продолжая заветы великого Мабильона, а потом хотим помочь нашим братьям, готовящим в королевской типографии «Издание памятников французской монархии». Это будет колоссальное собрание документов с гравюрами, сделанными в свое время Бернардом Монфоконом, да будет поступь его легка в реках, долинах рая. Орденский капитул переписал нам эту работу.

Вдруг глаза монарха загорелись безумным блеском и руки задрожали.

– Смотрите, досточтимый господин Сильвестр де Саси, вот в этом эпизоде из жизни святого Бернарда, изображенном бесхитростной рукой странного художника, вы видите демонов, окружающих сатанинский сон. Страшнее человека эти черные люди без рогов и без хвостов. Страшна судьба нашего Парижа! – Руки отца Томасьера дрожали, он говорил как в бреду. – Вчера у Собора Парижской богородицы я встретил шестнадцать чернокожих людей. Они шли, сверкая белками, говоря на эфиопском языке, переключались, нарушая благочиние королевской столицы, они показались мне демонами, окружающими сатанинский сон, забывшими о творце.

4. Клуб Массиака

В предместье Сент-Оноре в те годы еще существовал богатый отель господина Массиака. Богач, унаследовавший от отца четырнадцать сахарных плантаций в Сан-Доминго, он за свою шестидесятипятилетнюю жизнь добился стократного увеличения своих имуществ. Ветряные мельницы, богатые кофейные плантации, сахарные заводы, целые леса низкорослой ванили, гигантские поля, засеянные хлопком, давали ему сказочные богатства; десятки тысяч черных людей работали на его плантациях в Сан-Доминго. На берегах маленьких речек дымились сахарные заводы; черные люди, задыхающиеся от раскаленного воздуха и перегретого сахарного пара, по ночам входили в свои жилища там, на границе саванны, где начинались болота Сальваса, и ночью в маленьких шалашах катались по циновкам от укусов миллиарда москитов, впивающихся в сладкую кожу. Днем, под бдительным взглядом цветного надсмотрщика, хлыстом из кожи гиппопотама подгоняющего рабов, они отдавали свою кровь, свои мышцы, свои нервы двуногому москиту, богатство которого давно превзошло наследственные накопления крупнейших французских аристократов. Если в Париже господин Массиак не был допущен ко двору и в салоны принцев, то в Сан-Доминго он жил со сказочной роскошью и наряду с обыкновенными упряжками, вроде парной воланты, в которой он разъезжал для осмотра своих необозримых владений, он имел золоченые кареты, украшенные незаконно присвоенным гербом, запряженные драгоценными конями в упряжи, отяжелевшей от золотых гвоздей, подвесок и пряжек. Десятки слуг с благозвучными античными именами из числа чернокожих и цветных пленников и уроженцев Сан-Доминго, выросших с детства в роскошных дворцах Массиака, десятки безмолвных и покорных рабов, которым зачастую давалось чисто французское образование, – с надменными лицами стояли у дверей многочисленных зал во время празднеств, восполняя пышностью недостаток благородства крови и знатности рождения богача.

Если грубый феодальный сеньор Южной Франции обязан был соблюдать какие-то обычаи феодального времени в отношении к своим односельчанам и французский дворянин зачастую омужичивался сам и был такой же неграмотный, как крестьяне его родной деревни, и уже в силу этого зачастую не мог считаться беспредельным владыкой над жизнью и смертью своих вилланов, – там, в колонии, Массиак, Эснамбук, братья Ламеты вознаграждали себя за все уколы самолюбия в Париже тысячекратным чванством, разгулом кровожадного властолюбия среди безгласных колониальных рабов, которых старинный королевский «Черный кодекс» трактовал как самодвижущиеся вещи, находящиеся в полном распоряжении господина.

Дня полноты картины недостающей знатности господин Массиак ради увеселения своей дочери завел в своих палатах двух шутов из числа изуродованных, превращенных в горбунов негритянских детей. Запоздалые королевские замашки производили дикое впечатление на тех, кто посещал дом господина Массиака в Сан-Доминго.

Совершенство хозяйственной промышленной техники сочеталось в этом разгулявшемся буржуа с разнузданными манерами раннего феодала, который в первое десятилетие стремится возобновить стократный разгул фантастического злодея маршала Жиля де Реца. Так же, как этот современник Жанны д'Арк, маршал, казненный за неслыханный разврат и чернокнижие королевским судом XV столетия, так же этот некоронованный кофейный король осуществлял гнусные замыслы, делая предметом своего сладострастия издевательство над безответными представителями африканских племен, за которых никакой королевский закон не вступался на отдаленных от Франции плантациях Гаити.

Массиак был в дружбе с пятидесятилетним странным, безумным фантастом, отщепенцем парижской аристократии – человеком, при имени которого содрогались благочестивые старухи и молодые аристократки, в то время как дворянская молодежь двусмысленно улыбалась при произнесении этого имени, – маркизом де Сад. В отличие от старинного французского него-

дая, вошедшего в легенды под именем Синей Бороды, маршала Жиля де Реца, который осуществлял все свои безумные затеи и ничего не писал, этот новый претендент на престол короля распутства, маркиз де Сад, все описывал в своих жутких книгах, прокаленных на огне дикой и безудержной фантазии, но ничего не осуществлял. Старик Массиак, остробородый, желтолицый, со слезящимися глазами, имел в лице маркиза де Сада лучшего советника, консультация которого вознаграждалась иногда начиненным золотом мешком, перепавшим в руки беднее-го маркиза из тяжелых, окованных медью и железом сундуков богатого плантатора.

Только что накануне состоялось бракосочетание дочери Массиака с младшим сыном Александра Ламета, заседавшего в Национальном собрании в качестве депутата третьего сословия. Ночная оргия в предместье Сент-Оноре сменилась тяжелым дневным сном. К вечеру, поднимая лиловатые отяжелевшие веки, Массиак вспомнил о том, что предстоит снова бессонная ночь, так как по очень важному делу он собрал у себя семнадцать богатейших представителей французских колоний. Массиак дернул шелковый шнур, замшевый шарик ударил в золотой барабан, висевший за дверью, и густой длительный звук, усиленный рупором, позвал к нему прислугу. Два лакея в красных ливреях внесли тяжелый двадцатисвечевой канделябр. Массиак короткими и отрывистыми фразами давал распоряжения.

...А в этот час Саси беседовал с отцом Томасьером, укрываясь от уличной перестрелки. А в этот час Оже, выйдя от Лавуазье, прибыл в семью Ретиф де ля Бречонна, чувствуя необходимость говорить с любимой девушкой. Дочь Ретифа, Франсуаза, открыла ему дверь и сказала:

– Добро пожаловать! Расскажите, почему давно вас не было видно и почему вид у вас такой, как будто бы хоронили кого-то?

– Вы правы, – сказал Оже, – нам всем очень тяжело, и я боюсь, что преждевременно придется уехать.

Франсуаза вскинула на него глаза и ничего не сказала. Наступило молчание. Оже, чтобы нарушить неловкость, спросил:

– Что делает ваш отец? Я слышу голоса в его типографском кабинете.

– Отец, как и всегда, занят. Он же ни минуты не может остаться без дела. Сегодня кончил гравировку автопортрета. Он заканчивает книгу «Парижских ночей», записывает свои наблюдения и встречи, считает, что каждый день дорог и ни один из них не повторится. Он дружит с крайними. Он работает днем, а ночью выходит и смотрит, как живет Париж. Он изобразил себя в плаще, в широкой шляпе, а на шляпе сидит большая пучеглазая сова, с которой он любит сравнивать себя. Отец говорит: «Сова Минервы вылетает только по ночам».

– Изменились ли его отношения ко мне? – спросил Оже.

– Нет, и трудно на это надеяться, – ответила девушка. – Сейчас вы с ним говорить не сможете, у него сидят господин Фурнье и господин Фирмен Дидо, которые спорят из-за размеров типографского шрифта.

– Что же тут спорить? – спросил Оже, чтобы как-нибудь отвести разговор, приносящий боль.

– Как же, – с живостью ответила Франсуаза, – господин Фурнье в основу типографского счета положил длину королевской ступни. Ступня короля имеет двенадцать дюймов, дюйм имеет двенадцать линий, линия – двенадцать пунктов, – вот шестую часть этой линии господин Фурнье и считает необходимым способом измерения формочек для отбивки букв. Господин Дидо с ним спорит, а мой отец предлагает им определить «какое отношение имеет к королевской ступне листок газеты, именуемый „Пикардийский корреспондент“». Господин Фурнье доказывает, что при введении его шрифта легче бороться с революцией и что нет никаких оснований утверждать, будто бы „Пикардийский корреспондент“ не печатается в типографии Дидо.

Что такое «Пикардийский корреспондент»? – спросил Оже. – Почему такой спор о какой-то листовке?

В это время слышались голоса. Дидо кричал:

– Ни один из моих типографщиков не станет набирать гнусных листов газеты Бабефа «Пикардийский корреспондент»! Это порох, подложенный под фундамент всего общества, это взрыв, от которого взлетит человечество. Проповедник Бабеф требует уравниения состояний, он требует изъятия дворянских земель без выкупа, он требует даже таких диких вещей, как передача мануфактур в руки правящего народа, а вы осмеливаетесь утверждать, что «Пикардийский корреспондент» печатается в Париже да еще в моей типографии.

– Ну, я пошутил, господин Дидо! – воскликнул Фурнье. – Я никогда серьезно не утверждал вашей симпатии к таким господам, как Марат и Бабеф, ставший другом «Друга народа». Хорошие друзья народа!

– А я чту Марата, дорогие собраты, – сказал вдруг тихим голосом Ретиф де ля Бреттон.

Обиженный Дидо быстро уходил, Фурнье тоже простился. В комнату, где сидели Оже и Франсуаза, вошел Ретиф де ля Бреттон.

– Ах, это вы, господин Оже, – сказал Ретиф, ослабившись, – парижская зима заставляет и вас побледнеть, я вижу.

Оже сверкнул глазами, услышав, эту шутку, так назойливо повторяемую парижанами в разговоре с цветными людьми.

– Вы не находите, что поздний час? – спросил Ретиф, обращаясь к Оже довольно грубо.

– Да, нахожу, – сказал Оже, встал и, не прощаясь, вышел.

На лестнице его догнала Франсуаза. Она держала платок, забрызганный слезами, и говорила:

– Не сердитесь, он всегда такой тяжелый. Разве это может иметь для вас какое-нибудь значение?

Оже остановился и сказал:

– Не сержусь, мне сейчас не до того. Если бы я не боялся рисковать вашей жизнью, я предложил бы вам уехать со мной, но теперь... – Оже задумался и повторил: – Но теперь я должен вдвойне побереечь вас. Может быть, настанет другое время и мы осуществим наш замысел, а сейчас я уже не принадлежу себе.

У Франсуазы дрожали руки, язык ей не повиновался: она могла сказать только одну фразу:

– Не думайте покидать Париж, не повидавшись со мной.

Оже два раза прошел мимо освещенных окон дома Массиака. На условный стук у калитки, над которой свисали ветви каштановых деревьев, вышел маленький негр и сказал:

– Не здесь, а в предместье.

В предместье Сент-Оноре, в богатом отеле господина Массиака, сошлись семнадцать богатейших владельцев французских плантаций на Антильских островах. Тут были четыре брата Ламета, один из которых ораторствовал в Национальном собрании. Тут были внуки Эснамбука, дававшего когда-то деньги французским королям и кардиналу Ришелье, рядившего свою челядь так, как не мечтал король-солнце одевать своих миньонов и министров. Тут был вульгарный прихвостень угасающих аристократов аббат Мори, запасавшийся письмами знаменитых особ и при жизни стряпавший себе архив несуществующих подвигов и фальшивых дел. Но самое главное, тут был господин Массиак, остробородый, с сивыми волосами, слезящимися глазами, хилый, сладострастный и злой. Он кричал:

– Эти нищие на самом деле задумали обездолить нас своими глупостями в Национальном собрании! Я уверен, что бригада из наглых рабов – это их затея. Парижское дворянство провалилось. Версаль никуда не годится. Лафайет не знает, кого продать и кому продаться подороже. Мирабо готов продать кого угодно и за сколько угодно. Все говорят: дворяне уступают церковную десятину, которая идет не в их пользу. Духовенство уступает право охоты, которым не пользуется. Все уступают друг другу чужие вещи, лишь бы спасти свою шкуру.

Господа депутаты Жиронды охотно предоставляют свободу неграм и развращают наших рабов. Пусть эта проклятая сволочь поймет, что они не получают ни соринки сахара и ни зернышка кофе, если вздумают посягнуть из Парижа на наши колониальные права.

– Вы правы, дорогой Массиак, – сказал старший Ламет, – я кровно в этом заинтересован. Но поймите наше горе: мы подписали «Декларацию прав», а ее первые параграфы говорят, что люди рождаются свободными и равными в правах.

– Послушай, Ламет, ты дурак, – сказал Массиак. – Я расторгну брак своей дочери и твоего сына, если ты хоть раз не только повторишь, но подумаешь такие вещи... На всякий случай для таких болванов, как ты, заявляю, что я, ничего не читая вообще, на старости лет прочел дурацкую «Декларацию». Она кончается семнадцатым параграфом, который говорит: «Право собственности священно и неприкосновенно». Негры наша собственность! Понимаешь? Скажи это твоим пустобрехам из Национальной ассамблеи. Скажи этим полудворянам, разорившимся щелкоперам и голодным адвокатам, что всего бюджета Франции не хватит выкупить наших рабов. Да еще мы посмотрим, стоит ли нам разговаривать о выкупе? У нас есть вооруженные корабли. К черту Францию санкюлотов! Да здравствуют хозяева независимых колоний! Мы тоже умеем писать свои декларации. А впрочем... – Массиак взял под руку Александра Ламета и аббата Мори и, отведя их в сторону, шепотом заговорил:

– Мною приняты меры, чтоб уничтожить весь этот негритянский бригадаж вместе с семейкой Шельшера, приютившего беглых рабов в Париже под видом «законных» делегатов колоний. Я знаю этих друзей Рейналя – беглого попа, атеиста, бунтовщика. Сейчас они доби-ваются декрета об уравнивании в правах, а мы перестреляем их, как перепелов...

Аббат Мори заговорил:

– Вы сами виноваты в том, что колониальные негры образованнее своих хозяев. Они обучают ваших детей, вы делаете из негров нянек, они у вас преподают математику и служат инженерами на кофейных фабриках и сахарных заводах. Вместо того чтобы давать вашим детям образование, вы засыпаете их золотом, а к науке и знанию допускаете негров. Вот откуда гнев: *inde irae* [отсюда гнев (лат.)]. Отсюда же вместо церковного смирения и покорности идет гордыня человеческого разума и лживые мечты о свободе. Вы обратите внимание: все враги королевской власти, все атеисты, изгнанные из Франции, нашли себе приют в колониях. Там они заложили тайные масонские ложи, там они и теперь организуют бунт среди негров. Это все мятежный дух и гордыня разума! Это адское пламя, именуемое духом свободы!

Массиак грубо оттолкнул аббата и сказал с резкостью, привычной для него, окруженного сотнями рабов, неограниченного владыки несметных богатств:

– Замолчи, поп! Ты не на кафедре. Лучше бы ты произнес свою тираду с трибуны Национального собрания, где все ваши крючкотворы, адвокаты, не имеющие и десяти тысяч ливров дохода, осмеливаются читать поучения королю. А все почему? Потому, что голодная сволочь окружила Париж, и все вы дрожите за свою шкуру. Вы распустили гвардию короля, вы белую лилию Бурбонов заменили трехцветной кокардой...

– Мы? Кто же это мы, господин Массиак? Мы? Бедные священники короля и бога? Поистине виновниками негрской делегации являются господа Бриссо, Верньо, Кондорсе, Лавуазье, а больше всего Робеспьер. Они организовали «Общество друзей черных племен», они в колониях объединили умных и образованных негров; они устроили кассу для поощрения негров-изобретателей, они дают прибежище беглым.

– Нам не страшны негры-изобретатели, – ответил Массиак мрачно. – Мы не боимся ни ума, ни образования. У меня в руках власть, деньги, плеть и пистолет. Под звуки этого оркестра я заставляю плясать и ум и талант, поселись они не только в черной, но даже в белой голове. Я не такой дурак, как ваши министры. Когда негр Дессалин закончил хлопковую машину, изобретенную им, я тотчас же отправил его на три года с лопатой чистить клоаки Сан-Доминго. Кажется, теперь он погиб. Все эти клубы мечтателей и фантастов, организованные из фран-

цузских отбросов в колониях, нам не страшны. Мы подарили королю корабль «Клеопатра». На нем семнадцать пушек, три мачты, семиярусный трюм, в каждый ярус можно набить триста рабов. Правда, они не могут стать во весь рост, да это им и не нужно. Двадцать четыре дня просидеть в таком ярусе, а потом попасть на свежий воздух плантаций – не так уж страшно. Мы подарили королю этот корабль. Четыре раза в год черное дерево – королевский товар – перевозится на нем от берегов Либерии на Гваделупу, Мартинику и Гаити. Это верный доход его величества, более верный, чем королевские домены Франции. Мы можем сделать небольшие подарки тем членам Национального собрания, которые согласятся заткнуть свой глотки золотыми пробками, но клянусь святой Женевьевой, покровительницей моей честной торговли, что раньше, чем все ваши «друзья чернокожих» сумеют протащить в Национальном собрании какой-нибудь декрет о выкупе рабов, мы перестреляем их делегатов. Мы ни одного черного не оставим живым в Париже. Мы перехватим пакеты и почту, идущую морем! Ни один негр не узнает ни строчки здешнего декрета. А если стук от колес революционной машины в Париже докатится по волнам океана до берегов Гаити, мы сумеем заглушить его громом пушек со всех крепостных фортов Сан-Доминго. Это я говорю для тебя, Ламет, чтобы ты не ослабел как депутат Национального собрания. Сделай так, чтобы машина работала медленно, а прежде всего поговори с этим Винсентом Оже. Внуши ему, что он мулат и свободный, значит ему не по пути с черными, как рабами... Я сейчас...

Массиак обратился громко к другим:

– Милостивые государи, вмешался он в разговор группы колонистов, – могу ли я располагать вашим согласием в случае надобности ассигновать сотню-другую тысяч ливров на маленькое дело?

Массиак тихо и пространно приступил к намеченной теме: он изложил свой план подкупа цветных и возбуждения в них враждебных чувств против черных рабов.

Разошлись под утро, молчаливые и затаенные.

В доме Шельшера после выздоровления вождя и смерти госпожи Шельшер наступили томительные и тяжелые дни. Оже, Риго, Дессалин и сам недавний больной, пациент доктора Марата, Туссен Бреда, совещались о том, какое значение имеют странные и страшные события, происходящие почти ежедневно с неграми среди белых людей революционного Парижа.

Приехав после прочтения «Декларации прав человека и гражданина» в зимний Париж 1789 года, шестьдесят делегатов с острова Гаити были полны лучших надежд; они просили об уравнении в гражданских правах цветных племен Антилий; они представили петицию Национальному собранию о праве выкупа рабов, о предоставлении им избирательных прав в национальные ассамблеи колоний, где на двадцать тысяч белых колонистов приходилось полмиллиона черных и цветных людей. В качестве первого взноса они привезли с собой в кожаных мешках шесть миллионов золотых ливров – старое испанское золото, зарытое корсарами и известное только старикам, изучившим и плодоносные равнины, и болота, и красивые холмы Страны гор – Гаити, которую в годы революции негры переименовали в *Квискейя* – что значит «Матерь земель», ибо *«отсюда должна была идти свобода всем цветным людям в мире»*.

Но пока эта страна была «мачехой» негров. Оже говорил об этом в Национальном собрании. Он рассказывал о том, что такое Черный кодекс. Он развернул перед депутатами Парижа и французских провинций картину нечеловеческих мук черных людей, которых ежегодно по восьмидесяти тысяч и более перебрасывают с африканских берегов во французские колонии Нового света на огромных невольничьих кораблях, которые тут же граф Мирабо окрестил «плавающим кладбищами», кинув эту реплику с места во время речи Оже.

Факелы чадили по сторонам трибуны, отбрасывая тень мулата на стену Манежа. За окнами выла буря. Четырнадцать стенографов записывали речь. В душной зале люди в треугольниках, с палками, во фригийских колпаках серого и красного цвета слушали с затаенным дыханием о том, как в жаркой стране люди гибнут от палящего солнца во время сбора кофей-

ных зерен, как дети приучаются с колыбели произносить первое слово «маасса» – господин, собственник черного человека.

Оже говорил:

– Сахарный тростник, кофе, хлопок и ваниль покрывают только часть острова, все остальное – это глубокие ущелья, пустынные леса, густой кустарник и горы, то, что ваш великий Руссо называл Свободой, называл Природой, в которой рождается человек. Но и эта естественная свобода людей от нас закрыта. Когда тяжелый бич плантатора проливает красные ручьи по нашей черной коже, тогда жить и дышать становится невозможно и солнце становится черным. Мы все искали бы выхода в побеге в эту природу, но ваши солдаты, ваша полиция, ваши собачьи своры устраивают облавы и на эту природу, в которой беспечно живут и растут лишь дети богатых плантаторов. Часто, часто, чтобы спасти свою жизнь, нам приходится искать убежища в глубоких пропастях, в темноте, среди камней, подвесившись на связанных лианах, весь день не прикасаясь ногами к земле, в морщинах которой слышится шуршание ядовитых змей. По черному кодексу негры, бежавшие от истязаний, приговариваются к огненному клейму. На плече ставят «знак белой лилии», королевский герб. За второй побег негры режут поджилки и уродуют лоб, за третий – казнят...

...В колониях тирания введена в закон, – говорил Оже, – безнаказанность развратила плантатора. Негры-вещи все же имеют живые мысли, и огромные массы тупоголовых хозяев стремятся физически истребить эту мысль. Вот почему наши колонии находятся в вечном огне, вот почему негры, обучающие ваших детей, стали опасной игрушкой в руках безграмотного хозяина. Мыслящие вещи стали истреблять тупоголовых двуногих животных с плеткой и пистолетом...

Негодование и беспокойство прокатилось по рядам Национального собрания: этот мулат, этот цветной человек осмелился грозить белым гражданам Франции, представителям белого народа, богатым людям, гражданам с независимым состоянием...

– Долой дворянство белой кожи! – закричал с места депутат Робеспьер. – Пусть торжествует принцип свободы, хотя бы ценою гибели колоний!..

Но его оборвали. Ему не дали говорить. Его прервал колокольчик Бальи и шум депутатов. Бальи кричал, покрывая собой толпу:

– Ни один голос угнетенных наций не останется неслышанным...

Но его собственный голос затерялся в гуле негодующих голосов. Бриссо, Верньо и Кондорсе подошли к шатающемуся мулату, сошедшему с трибуны, и говорили:

– Успокойтесь, все будет прекрасно, мы издадим декрет, соответствующий «Декларации прав», ручаемся нашими головами.

Винсент Оже усталым взглядом посмотрел на их головы, словно решая вопрос о качестве такого залога и словно предвидя, что эти три головы упадут под ножом гильотины как головы людей, случайно вознесенных на гребне волны и сметенных девятым валом.

Франция видела перед собою ведь всего только Национальное собрание колеблющихся людей. Еще четыре года – и гигантский взлет восемнадцатого столетия уничтожит дворянскую Францию. Конвент разгромит феодализм и сам погибнет под ударом свинцового кулака, на котором написан непреодолимый для Конвента семнадцатый параграф «Декларации»: «Право собственности священно и неприкосновенно».

В Париже сдвинулась секундная стрелка, и на часах истории прошли густые тени вековых по качеству событий.

Оже говорил:

– Друзья, вы собраны мною для того, чтобы Туссен, наш тайный вождь, которого – увы! – не хотят признать свободным ни за какое золото, чтобы Пьер Шаванн, чтобы Жан Риу, чтобы Доминик Биассу, чтобы Жорж Пуссен, Феликс Тютуайе, Жан Пьер Руссо, Бенедикт Корбейль,

Франсуа Виньерон и Кларети Валлон вместе с Теодором Канглотаном, а также чтобы и ты, наш неожиданный и не очень верный союзник, Риго, знали, что, доверившись французским грамотам и «Обществу черных друзей» в Париже, мы сделали большую ошибку. Из шестидесяти нас осталось тридцать семь... Где остальные? Люди исчезают в Париже бесследно, и белые и черные. Вот уже вечер, а Дессалин еще не вернулся. Нынче утром не стало еще четверых. Вчера неизвестно где погибло двое. Ни королевские магистраты, ни господин Мирабо, ни начальник Национальной гвардии не могут найти следов наших товарищей. Что это? Роковой случай или истребление шестидесяти лучших цветнокожих, уполномоченных от племени Гаити и доверенных первому городу мира – Парижу? Я для того вас созвал... По твоему приказу, Бреда, – сказал Оже, обращаясь к Туссену.

Негры и мулаты повернулись к маленькому большеглазому человеку с грустным и спокойным лицом. Он молча кивнул Винсенту Оже, и все цветные люди наклонили головы.

– Я для того призвал вас, – повторил Оже, – чтобы...

Оже опять остановился. Тогда его прервал Туссен:

– Друзья, – произнес он так тихо, что все встали и склонились к говорящему. – Нам нечего искать во Франции. Прежде чем хорошие, но бессильные люди смогут явно сделать что-нибудь для нашей свободы, другие, могущественные и злобные, их опережают тайно. Скажу вам прямо: до наступления ночи мы будем все перебиты. Я узнал это сейчас, когда уже нельзя просить лошадей на запад. По цвету кожи нас узнали бы. Узнав, перережут нам глотки, поэтому те, кто знает восток, поедут на восток. До Гавра никто из нас не доберется. Оже и еще троим я приказал через двенадцать дней встретиться в Лондоне у нашего друга Кларксон. Где? Они знают. Остальные! Покрасьте лица, оденьтесь нищими и, не медля ни минуты, бегите, взявши пропитание на два дня, в округ Кордельеров, и там просто просите милостыню именем Лорана Басса. Вам помогут. Прощайте!

Наступила ночь. Шел снег. На набережной Елисейских полей появились двое на расстоянии выстрела один от другого. Передний тяжело дышал, а преследующий думал: «Выстрел разгонит пешеходов на всем пространстве квартала, а крик, наоборот, созовет всех даже из домов. Надо стрелять, а не резать, но в темноте я ни за что не попаду, в темноте я промахнусь». В эту минуту беглец исчез, а преследователь в ужасе развел руками.

У самого выхода из главной водосточной тумбы, загораживавшей спуск под реку, открывалась решетка, и старый негр, знающий, что чернокожему можно спрятаться только там, куда боятся влезать белые люди и черные собаки-ищейки, бросился вниз, под решетку. Илистый, гнилой всасывающий колодец под клоакой Сены был свидетелем того, как старый негр в течение семи с половиной минут стремился ухватиться за плоские скользкие стены, усеянные мириадами мокриц и плесенью. Потом долго еще под гнилой тиной он боролся за жизнь, синевя и задыхаясь, пропуская в бешено раскрытый рот отвратительную гниль клоаки.

Человек с пистолетом так и не понял, куда скрылся негр. Его труп опознали в марте 1790 года, когда речная вода размывла клоаку. Браслет на ноге выдал негра.

Люди в масках, с пригоршнями золота, дерзко идя навстречу судьбе, предлагали таможенным чиновникам на стенах, башнях и бастионах вокруг Парижа пропустить их за город. Проницательные и острые взоры таможенных крыс смотрели на мочки ушей под шляпами замаскированных пассажиров и говорили:

– Вы слишком торопитесь, дорогой гражданин, ваше ухо вымазано черной краской.

Или:

– Вы платите больше, чем вам полагается за ваш багаж, но все-таки не столько, чтобы хватило на жизнь, если меня выгонят за то, что я вас выпустил из Парижа.

В магистратах арестованные таможей черные люди не появлялись. Они исчезали по пути.

Уроженец Эльзаса Шельшер, имея законный паспорт, выехал на север с тяжелым чемоданом. Он ехал в Брюссель. Его провожала белокурая и смеющаяся любовница, девушка с живыми глазами, легкомысленная и вульгарная. Она скалила белые зубы, гримасничала темно-красными толстыми губами, обмахивалась веером, брызгала духами, громко говорила неприличные вещи, сверкая лицом и ярким румянцем на скулах. На нее никто не обратил внимания. Таможенный сержант, подсаживая ее в карету, ущипнул ее за икру и получил такой удар носком туфли в зубы, что отскочил со словами: «Фу, чертова девка!» В эту минуту господин Шельшер сходил со ступенек, и двое носильщиков вскидывали тяжелый, уже досмотренный и оплаченный баул, на империал кареты. Старый кучер и два фореитора, ругаясь безобразными словами, икали пьяной икотой, сплевывали и щелкали бичами.

Так по селам и деревням, останавливаясь без дороги, минуя Брюссель, доехали до Дюнкерка. Там, перед самым въездом в поле, вынули из баула полуживого Оже. Красотка Шельшер, скинув проклятый парик и снявши белила и румяна, снова превратилась в бешено танцующего негра Ригу. Фореитора и кучер вдруг стали степенными строгими старыми неграми из масонской ложи аббата Рейналя.

Оже, усталый, вялый, кашляющий, говорил, обращаясь к Шельшеру:

– Дорогой друг, придет время, вы женитесь. У вас родится сын: Завещайте ему продолжить ваше большое, хорошее дело. А сейчас, пока он не родился, дайте мне что-нибудь пожрать, я издыхаю в вашем проклятом чемодане с флогистоном господина Лавуазье.

– Не ворчите, Оже, – сказал Шельшер, – одновременно с вами выехал из Парижа сэра Артур Юнг. Английский экономист, путешественник и писатель смущен тем, что во Франции благодаря лаборатории Лавуазье нашли способ быстро удвоить пороховые запасы государства. Он дважды предлагал Лавуазье переехать в Англию. Лавуазье отказался, а этот английский шпион ловко повернул дело так, что рано или поздно дураки санкюлоты казнят своего ученого, удвоившего обороноспособность Франции. Я не хочу встречаться с господином Юнгом на пристани в Кале. Вот почему мы с вами высаживаемся в Дюнкерке. Отсюда шлюп английских матросов *незаконно* переправит нас через Ла-Манш. Я опасаясь только за жизнь Туссена.

– Я хочу есть, – сказал Оже. – Но никто из нас никогда не опасался за жизнь Туссена, если он на ногах. Если бы вы знали, чему научила жизнь этого негра за сорок шесть лет, проведенных им на земле!

Туссен Бреда пробыл в Париже еще три дня. Он увидел под конец третьих суток, что переодевания не помогают. Он знал, что по следам неизвестного негра, как звали его агенты магистратов в Париже, двинулись самые опасные шпионы из лакеев богатейших колонистов и специалистов, убивающих по найму,

– этого особого разряда людей королевской Франции, избавленных от виселицы «на случай». Они имели даже свою кличку на полицейском аргю, их звали «разведенными с вдовой», то есть приговоренными, но не повешенными ввиду согласия на «особые поручения». Из мансарды своего друга Ретиф де ля Бретонна Туссен в минуту обыска принужден был спуститься к стенам Самаритэны под самое утро. Голодный день провел в бурьяне на берегу Сены, под мостом. А когда сумерки спустились на улицы Парижа, он пошел по «Острову», имея перед глазами гигантскую главную розетку Нотр-Дам де Пари. Пистолетный выстрел из-за угла сбил с него шляпу.

– Что это? Что это? – раздалось рядом с ним, и молодой остролицый человек с длинными волосами, в маленькой форменной треуголке Бриеннской школы, звеня шпорами, загородил его собою.

– В меня или в вас? – спросил он Туссена, очень плохо говоря по-французски.

– Не знаю, – ответил Туссен. – Кто вы?

– Я корсиканский офицер. Моя фамилия Бонапарт. Я ненавижу французов, стреляющих по ночам в безоружных, как вы. Встаньте за мной!

С этими словами молодой человек вынул огромный пистолет, осмотрел полку и произнес, стискивая зубы:

– Проклятая нация! Неужели, истребив свободу на моем острове, они смогут удержать ее за собою?

– О каком «Острове» вы говорите?

– О Корсике! Конечно, не об «Острове на Сене»!

Прошло несколько секунд. Какие-то тени зашевелились у дальних домов. Молодой офицер сказал:

– Идите до собора, а я здесь постою, но перебегайте улицу не раньше, чем я выстрелю, а потом прячьтесь в Нотр-Дам.

Он просчитал до трех, и словно пушечный выстрел раздался над улицей, группа людей разбежалась. Туссен был уже далеко и через минуту взбирался по ступеням огромного недостроенного собора. Он слышал за собою шаги. Ему чудилось, что его преследуют какие-то тени. Шаги раздавались то близко над самым ухом, то далеко, словно капли, падающие на дно колодца.

Перебегая по темным лестницам, путаясь, негр поднимался все выше. В состоянии полного изнеможения, глотнув в пролете морозного воздуха, он пошел в ту сторону, откуда тянуло холодом, и, выйдя на парапет, спрятался между замерзшими звеньями балюстрады. Глубоко над ним расстился глухой, темный, лишь кое-где мерцающий огнями Париж. Темные каменные изваяния недвижно нависли над городом. Было тихо. И вдруг рядом послышались шаги. Человек, крадучись, шел, стремясь слиться со стеною. Он остановился в раздумье, тихо распахнул плащ, подняв пистолет, выстрелом озарил балюстраду. Уродливая химера на перилах собора, изваянная из черного камня безумцем тринадцатого столетия, не пошевелинулась, и только ухо, раздробленное пулей, брызнуло каменными искрами по снегу.

Стрелявший в ужасе бросился вниз со словами:

– Эти проклятые негры превращаются в камень!

Через десять дней ветер замел следы скрывавшихся негров по зарослям морского берега, под соснами песчаных дюн Ла-Манша.

Массиак был озабочен поимкой двух бежавших слуг. В Париже наступили дни неожиданной ранней весны, и давно растаял тот снег, на котором мерзли не привычные к холоду черные ноги. Занятые французскими делами, «Друзья чернокожих» позабыли о предметах своих забот, а когда вспомнили, то оказалось, что все негры исчезли, и Кондорсе предположил, что они благополучно уехали, не дождавшись обещанного декрета. Начиналась новая борьба не на жизнь, а на смерть. Триста дворян были найдены в Бордо и были застигнуты на приготовлении к побегу. Около двухсот семей были опознаны в Марселе. Население волновалось, беднота кричала, а Национальное собрание требовало отпуска невинных. Марат на страницах своей газеты клеймил богатых буржуа, сидевших в Национальной ассамблее, а Робеспьер все чаще и чаще поднимал голос уже не столько в защиту угнетенных, сколько требовал кары для угнетателей.

Вихри взлетали высоко над головами сидевших в здании Ипподрома депутатов, и пока они брали на себя решение маленьких деталей политики собственников, в это время другие мощные стихии столкнулись на широком и просторном политическом поле битв. Национальное собрание посылало мягкие требования пощадить дворян, пытавшихся бежать за границу Франции, но местные руководители французской революции, провинции, предавали казни этих пойманных дворян, десятки и сотни ослушавшихся воли тех, кто уже без всякого права называл себя представителями народа. И в то же время, когда Национальное собрание в лице мягкосердечных депутатов поднимало голос за улучшение участи черных и цветных людей, через голову того же Национального собрания производилась разрядка другой и страшно напряженной стихии озверевшего богача, готового протянуть руку кому угодно, только бы не

лишиться своих колоссальных прибылей, добываемых черным трудом черного человека. Так шпаги борющихся классов скрещивались над головами пигмеев, пытавшихся где-то внизу, в муравьиных кучах Ипподрома, остановить разыгравшуюся революционную стихию, поднятую не агитацией, не капризами отдельных людей, а борьбой тех кому уже нечего больше терять, с теми, кто хочет все больше и больше приобретать чужим трудом.

В этой борьбе шестьдесят черных и цветных людей, таявших когда-то на улицах Парижа в толпе прохожих, были забыты, о них не вспомнил никто.

Савиньена де Фромон ехала по дороге из Парижа в Сен-Дени. Шелковый ветер трепал белокурые волосы, не пудренные, спускавшиеся кольцами из-под шляпы. Эта красивая дама ехала «подышать воздухом деревни». В ее не слишком наполненной головке, как легкие птицы, порхали еще менее полные мысли. Она уже совсем не вспоминала о встрече с Адонисом. И еще меньше думали о неграх господ Бриссо, Верньо и Барнав. Заботу о неграх приняли на себя господин Массиак, он действительно был озабочен. Парижские дела его беспокоили сильно, приходилось обдумывать, как лучше поступить, не ссорясь с магистратом, но основным вопросом, тревожившим господина Массиака, был ключ к загадке другого рода – как сделать, чтобы в случае полного ослабления королевской власти, в случае крушения монархии во Франции сохранить независимым состояние и удержать политическое равновесие в колониях. Вопросы, тревожившие парижан, не тревожили господина Массиака. Вопросы, тревожившие господина Массиака, были вне круга забот, волновавших парижские массы, – разграничение удобное, позволявшее Массиаку действовать, давать директивы, в которые никто не вмешивался, определять поведение своих агентов пригоршнями золота, не вызывая у них никаких подозрений относительно осуществления сложной рабовладельческой программы.

События развернулись так, что ранним утром в морских портах Гавра и Сен-Мало внезапно взбунтовались матросы. Толпа пьяных моряков после ночного дебоша двинулась по Прибрежным улицам, громя на своем пути все жилища, в которых обитали чернокожие рабочие, портовые грузчики, негры-матросы, негры-слуги, стаскивали людей черной кожи на камни дебаркадера, где в груде лежали три негодных якоря. Двое матросов брали за ноги свою жертву и разбивали об якорные кольца черепа чернокожим людям. Молодой офицер с королевского брига «Аврора», схватившись за стилет левой рукой, правой рукой держа перед собой пистолет, пробовал остановить передние ряды разбушевавшихся пьяных матросов. К нему подбежал капитан Симонэ, командир, и скомандовал ему убираться с дороги, молодой человек пошел в магистратуру, он требовал взвода национальных гвардейцев или милиции; в этом ему было отказано. Молодой человек добился свидания с мэром. Градоправитель выслушал его сухо, достал клоч синей бумаги, на котором была начерчена история происшествий предыдущего дня: «Неграми изнасилована дочь боцмана, матросы возмущены неграми, матросы требуют смерти черных».

– Откуда боцман? – спросил юноша.

– Как я могу это знать? – возразил мэр. – Здесь написано боцман брига «Аврора».

Юноша побледнел.

– У нас на борту вот уже месяц нет боцмана. Старый боцман умер от желтой лихорадки, у него никогда не было детей, он не был женат. Нельзя ли восстановить порядок?

– Это свыше моих сил, – ответил мэр.

Молодой офицер ушел, недоумевая и пожимая плечами.

Серый, туманный день на взморье, леса корабельных мачт, а за ними белые валы шумящего Океана. В городе тревожные слухи о том, что у негров есть свой предводитель; взволнованная беготня на кофейной пристани, шепот в конторе сахарных складов, постоянное хлопанье дверей в кабинете главного клерка по вывозу колониальных пряностей; шум по поводу письма, полученного от граждан города Бордо, от владельцев колониальных контор Сен-Мало, которые напуганы приездом в Париж черных рабов Сен-Мало и сообщают, что самый опас-

ный негр, страшный разбойник, бежавший с плантации испанского синьора. Бреда, собирается поднять восстание на французских кораблях. Тысячи темных слухов, сотни добровольных поисков, десятки подкупленных агентур и горсти золота волновали целый день французский приморский город.

Молодой офицер с брига «Аврора» выезжал из Гавра в Париж на свиданье с родными. Он уже успел отвлечься от мысли о странном поведении мэра, о ложном доносе несуществующего боцмана и к вечеру, отдыхая на почтовой станции, в часы перепряжки лошадей, уже не думал о погроме чернокожих. Старые истории, виденные на Антильских островах, уже не возникали перед ним как упрек в ненужной жестокости соотечественников. Он думал только о предстоявшей встрече с родными и волновался за их судьбу, имея тревожные сведения о жизни в Париже. Как вдруг и здесь его настигли гаврские впечатления.

Перед окнами маленького дома, в котором помещался содержатель гостиницы, остановились двое – высокий конвоир с мушкетонем и человек маленького роста, чернокожий, с большими умными и грустными глазами. «Еще один пойманный негр, – подумал моряк, в то время как служанка, в ответ на просьбу негра, произнесенную чистейшим французским языком, подала ему большую кружку холодной воды. Вдруг офицер вскочил: негр мгновенно выплеснул свою кружку в лицо конвоиру и ногой выбил у него мушкетон, прежде чем служанка вошла на кухню. Еще через минуту конвоир выстрелил в воздух, стал кричать о помощи. Морской офицер не мог понять, куда мог так быстро укрыться негр. Сбежавшиеся слуги, сам трактирщик, конюхи и фореиторы дилижансов начали поиски во все стороны; они были безуспешны. В соседнем дворе, через забор, увидя мальчишку, сидящего на груде древесного угля, конвоир умоляюще выпрашивал, не пробежал ли тут чернокожий человек. Мальчишка молча указал рукою на соседнюю изгородь, за которой виднелись груши, вишневый сад, осыпанный цветами, и несколько каштановых деревьев. Солдат побежал в указанном направлении и стал бешено колотить в ворота соседнего дома. К нему присоединилось два-три человека, все с любопытством ожидали поисков этого фантастического беглеца до вечера. Поиски не увенчались успехом, но когда конвоир рассказал о том, что мальчик, сидевший на угольной куче, указал ему дорогу в соседний сад, то содержатель почтовых карет и трактирщик с удивлением покачали головами:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.